

COAO

13

SOLO

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

СОЛО
13

МОСКВА
„АЮРВЕДА“
РУССКИЙ ПЕН-ЦЕНТР
1994

Москва, Госпитальный вал, 5, корп. 18

Редакционная коллегия

Владимир АБРОСИМОВ

Андрей БИТОВ

Владимир ЗУЕВ

Александр МИХАЙЛОВ

Евгений ПОПОВ

Редактор-составитель

Александр МИХАЙЛОВ

Представитель редакции за рубежом

Дмитрий ДОБРОДЕЕВ

8000, München, Radolfzeller Strasse, 9a

Tel.: (089) 834 32 33

*Продажу журнала «СОЛО» за рубежом
осуществляет книготорговая фирма*

Kubon & Sagner Buchexport-Import GmbH

Telefon (089) 5 42 18-0; Telex 2 216 711 kusa d;

Telefax (089) 5 42 18-2 18

D-80328 München 34, Postfach 340108

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ВЫПУСК

В НОМЕРЕ

От редактора 4

НОВЫЕ ТЕКСТЫ

Полина СЛУЦКИНА

Чудесное око телевизора. Норманны-завоеватели в галантерейной лавке. Воспоминание о Поле Анке. Кофе. Первая байка из машбюро. Вторая байка из машбюро. Приобщился. День рождения. Экстраполяция функции. Ожидание . 7

Елизавета ЛАВИНСКАЯ

Ошибка Александра Коханевича. Возвращено честное имя. Что хочет он. Фридрих Энгельс — Карлу Марксу: современная женщина глазами туриста. Пятнадцать ступеней очищения мужчины на пути к храму любви 40

Татьяна ГОРИНА

Без названия 50

Юлия КИСИНА

Американские рассказы 56

Анна ВАСЯЕВА

Стихи 63

Софья КУПРЯШИНА

Цвет ног. Забор и горы. Рассказы пионеров. Солнечные дни. Ванная. На гастролях. Сочинение . 67

МОНОЛОГИ

Лариса ШУЛЬМАН

Отечественные записки 94

ОТ РЕДАКТОРА

Глуп тот, кто отрицает существование женской литературы как таковой. Редакция журнала «СОЛО» убеждена, что ЖЛ была, есть и будет, пока на свете существуют столь различные создания, как мужчина и женщина. Вот, к примеру, некая Аврора Дюдеван — как бы она ни старалась прикинуться Жоржем Сандом, все равно видно, что «Консуэло» и «Индиана» написаны дамской рукой.

Да что там говорить! Продвинутому читателю сразу ясно, где ЖЛ, а где что-то другое. Трудности возникают в основном тогда, когда требуется более или менее вразумительно охарактеризовать тот или иной текст по половому признаку.

Обычно в ходе дискуссий о ЖЛ центр их (дискуссий) произвольно смещается с видовых признаков на категорию ценности. Дескать, хорошая ЖЛ ничем не хуже любой другой, говорят одни. Женщины всего лишь симптом мужчины, говорят вслед за дедушкой Фрейдом другие, поэтому поэзию и прозу они пишут какую-то не такую, в общем — женскую...

На самом деле все обстоит значительно проще.

Для чего пишет мужчина? Пусть даже самый ничтожный и бездарный? Это всем известно. Чтобы исповедаться перед миром, чтобы решить вековые вопросы, чтобы отыскать истину, наконец. А женщина?

Читая ЖЛ в лучших ее образцах (Л. Петрушевская, ранняя Т. Толстая, поздняя Д. Рубина), мы видим прежде всего женщину вообще, некий прелестный образ, который автор талантливо разыгрывает перед собой и перед читателем. Здесь мило отсутствует какое бы то ни было стремление к истине, к объективной правде. Логика и мораль — совершенно пустые звуки для настоящей ЖЛ. А такие отпугивающие словечки и понятия, как честь, долг, совесть и т. п. — там просто неуместны. Их прекрасно заменяют интуиция, вкус, любовь и другие восхитительные вещи.

Нам еще не приходилось читать ЖЛ, которая бы поражала весом и глубиной авторской мысли. И это прекрасно! Как правило, мысль там легко скользит по поверхности яв-

лений, изящно порхая с одного предмета на другой и временами достигая совершенства в выборе объектов своего внимания.

Также не удалось нам обнаружить, читая ЖЛ, какие-то неразрешимые философские проблемы, которые бы мучили автора и обеспечивали парочку бессонных ночей читателю. ЖЛ вовсе не хочет познавать мир или того пуще переделывать его, как это свойственно прямолинейному мужскому характеру. Авторы ЖЛ с подкупающей непосредственностью хотят сами быть познанными и сострадают в первую очередь самим себе, а не человечеству в целом. Метафизика у них начисто отсутствует, что само по себе очаровательно. Под личностью, под человеческим «я» попросту понимается тело, внешность, «как я выгляжу». И ценность «личности» измеряется, конечно же, ценностью мужа, поклонников, окружения, уровня жизни и т. п.

Ни один мужчина не способен написать так, как пишет женщина. Когда-то Лев Толстой описал едва заметный жест своей героини, поправляющей бретельку на плече, и это по справедливости должно быть признано вершиной проникновения в женскую психологию...

Впрочем, достаточно. Итак, нам кажется, ясно, что пора раз и навсегда легализовать эту прекрасную в своей неповторимости ЖЛ, как давно уже сделали во всем цивилизованном мире. Ведь актуализация женского вопроса в нашем обществе свидетельствует именно о его (общества) стремлении к нормальному, так сказать, половому развитию.

На Западе существует немало издательств, печатающих только книги авторов-женщин. Причем широта тематики вполне может потрясти воображение: от традиционных дамских «лав сториз» и простодушных романов из провинциальной жизни до сверхинтимных наставлений как «делать любовь» с мужчиной и фундаментальных исследований по лесбийской этике.

Журнал «СОЛО» за три с лишним года своего существования не один раз обращался к ЖЛ, а — два. Это в прозе. И еще два — стихи и эссе. Таким образом, процент женщин — авторов «СОЛО» достиг впечатляющей цифры — 0,75! Тем не менее поползли нехорошие слухи о якобы имеющей место в редакции женофобии. Особенно преуспела в этом феминистски настроенная часть западных слависток, внимательно читающая наш журнал. Они неизменно задают нам один и тот же агрессивный вопрос: почему вы так мало пе-

чтаете женщин? И никакие оправдания и даже прямые намеки на закоренелую гетеросексуальность членов редакции не помогли до сих пор снять вздорное обвинение.

В конце концов подспудное моральное напряжение сублимировалось в акте создания специального женского выпуска журнала «СОЛО», который вы держите в руках. Редакция вносит посильный вклад в борьбу женщин всего мира за свое равноправие.

Среди авторов этого номера нет случайных имен. За их будущее в большой женской литературе редакция абсолютно спокойна...

Полина Слуцкина пишет рассказы давно, хотя по-настоящему еще не печаталась. Зато она кандидат наук, лингвист, в совершенстве владеет английским и его же преподает.

Елизавета Лавинская по профессии скульптор, недавно закончила бывшее Строгановское училище, между делом написала роман «Не вспоминай меня», повесть и кучу рассказов. Считает себя писателем. Печатается впервые.

Татьяна Горина — художник, совершенно изумительно оформляющий книги других авторов, даже тех, кто пишет хуже нее...

Юлия Кисина, проделавшая за свою недлинную жизнь весьма крутой маршрут Киев — Москва — Мюнхен, предложила «СОЛО» новую для себя тему — американскую. Мы согласились: why not? Хотя Юлия Кисина и не дебютант в литературе, но Америка есть Америка, против нее не попрешь!

Трагические стихи *Анны Васяевой*, которые принес в редакцию наш старый автор Иван Макаров, мы не могли не напечатать просто потому, что они попали к нам первым.

Ларису Шульман, ранее публиковавшуюся в журнале «Литературная учеба» и других, «СОЛО» печатает из соображений того самого равенства полов, о котором говорилось выше: в «СОЛО» № 11 был напечатан рассказ ее брата Михаила Шульмана. И потом Лариса сама по себе замечательный человек и забавно пишет.

Софья Купряшина, дебютировав в «СОЛО» № 4, стала уже достаточно известным прозаиком и успела напечататься в «Страннике», «ГФ», «Собеседнике», «Вавилоне». Печатая вновь ее прозу, редакция отдает дань чувству ностальгии по своему славному прошлому, по журналу и авторам, которые были три года назад...

Александр Михайлов

Полина СЛУЦКИНА

ЧУДЕСНОЕ ОКО ТЕЛЕВИЗОРА

Вовочка лежит в постели небритый, нечесанный и бледный — болеет после запоя. Рокочет телевизор, установленный в противоположном от постели углу, но Вовочка почти на него и не смотрит — болит желудок и раскалывается голова. Рядом с диваном стоит на полу бутылка, в которой еще осталось на доньшке коньяку.

Когда в комнату быстрым шагом заходит прямо с улицы Ира, его сожительница, его боевая подруга, то он понарошку закрывает глаза, притворяясь мертвым. Ира с ходу с самым серьезным и озабоченным видом кладет руку на его лоб, хлопает по щекам и немного веселеет — живой! — шутка. Шутку эту он разыгрывает уже не в первый раз, напоминая о делах совсем нешуточных. Недавно от пьянки скончался его сосед, совсем еще молодой мужчина. Тогда Володя горько рыдал, проклиная его и свою загубленную жизнь, но на следующий день снова напился и с тех пор вспоминал случившееся только такой вот немудреной шуткой. «Ты за меня не беспокойся, — говорил он Ире, — я не слабак, я сто лет проживу». И по-прежнему, приходя навеселе со своего мясокомбината, рычал и хохотал, и хвалился, и ругался в телефонную трубку. И вот теперь он, ослабевший за неделю от пьянки и тяжелой работы и в глубине радостный, что его подруга не бросила, хоть и обещалась, хоть и вешала трубку, подшучивает над ней.

Кругом — пепел от сигарет, и на табуретке, стоящей у постели, грязная тарелка с недоеденным куском помидора и консервная банка, превращенная в пепельницу.

— Сигарет принесла? — хрипло спрашивает «больной» и открывает глаза.

— Принесла, принесла, — торопливо отвечает из передней Ира, надевая тапочки. Она вынимает из сумки блок дешевых сигарет и кидает их прямо на постель.

— Положи на телевизор, — хрипит Володя, ловит Иру своими длинными жилистыми руками и притягивает к се-

бе. — А теперь раздевайся, погрей меня, — добавляет он властно.

Ира с удовольствием подчиняется — на единственный стул у окна летят свитер, брюки, застиранный лифчик, рваные колготки, и вот она в одной рубашке лезет греть своего хозяина в пропахшую перегаром постель. Хозяин ложится прямо на нее своим худым жестким телом, ерзает, колдует, покрывается потом, потом медленно сползает, охая и покрывая и снова притворяется мертвым.

Ира снова хочет прижаться к его разгоряченному телу, но он отталкивает ее и говорит грубо:

— Мясо — на сковородке, пойдн, поешь, а потом — марш за хлебом и за водкой — лечиться буду!

— Никакой водки! — сурово говорит Ирина, — ты уже неделю пьешь, — отдохни. Ты же мне обещал!

«Ах ты стерва!» — удивляется Володька и закутывается в одеяло до самых глаз. Закутанный в одеяло он кажется таким жалким и худым, что лучше на него не смотреть, чтобы не думать о том, что вот человек, любимый человек, так изводит себя водкой...

Ира приседает на краешек постели — это ее место в Володькиной квартире и в его душе — на краешке возле ног и принимается смотреть телевизор. Программа, на которую он постоянно включен — это вечный праздник полуголых телевизионных краль и холеных разбитных мужиков.

«И я могла бы быть не хуже, — с завистью думает Ирина, вытягивая перед собой свои худые с синеватыми венами ноги, — в молодости, конечно...»

«Почему у них в телевизоре такая праздничная жизнь, которую они как бы в насмешку над трудовым людом называют работой? Ничего себе работа! Изгаляться и выдрючиваться, подпевая себе спитыми, хриплыми или визгливыми голосами! Для такой вот работы надо было смолоду искать шикарных мужиков с деньгами и со связями — спонсоров, одним словом! Не клюнул бы спонсор на такую нескладуху, как я?!»

— А вот эта девочка — поглавное тебя будет! — слышит Ира хриплый Володькин голос — он, оказывается, не спит, а таращится из-под одеяла на блестящих полуголых артисточек с длинными ножками.

Ира отворачивается к окну, чтобы он не видел ее поджатых губ и злого лица. «А ты вот бы и поймал такую, — с

ненавистью думает она, — алкаш поганый! Чего за меня-то держишься!?»

— Водки хочу, водки, курва, а ты все сидишь, жопы от дивана не отскребешь! — кричит Володька. — Давно бы уже сбегала, хлеба не надо, водки песи, водки!

Ира каменно молчит.

— Ах, стерва!.. — бормочет Володька и снова с головой залезает под одеяло.

А парад по телевизору продолжается — и попробуй переключи — сразу проснется и заорет, чтобы повернула ручку обратно. Ире становится невтерпеж смотреть на вертлявых певичек, на их кокетливые зазывающие глаза, на их бесстыдные позы и наряды. А каково сидеть в запущенной, замызганной квартире и видеть все это!

«К черту уборку!»

— Давай деньги! — твердо говорит она. Володька мигом высовывает лохматую голову из-под одеяла, как будто только этого и ждал.

— Умничек, ах, ты мой умничек, — хрипит он, обнимает своими длинными руками Ирину и внезапно толкает ее в бок: — Иди, вынь бабки из брюк!

Ира копается в брюках и отдает Володьке кошелек. Володька пересчитывает мятые жеванные купюры и, наконец, сует комок Ирине:

— На, на поллитра должно хватить. Моим друзьям ничего не говори, лучше бы они не попадались, гады, а то на хвост сядут... Клади в сумку и марш домой!

Ира знает, что в магазине водка плохая, не московского разлива, но черт с ней, раз Ира решилась, то она готова выпить любую отраву — вместе помирать веселее!

И вот минут через двадцать она возвращается. По этому случаю Володька врубил телевизор на полную мощность и он орет на всю квартиру.

Пока Ира раздевается, Володька встает, отнимает у нее бутылку, моментально вскрывает ее и разливает водку. Настроение у него приподнятое.

— За Филипку, дружка моего! — провозглашает он и чокается с Ириной. По телевизору действительно поет томный Киркоров. Они пьют.

Откусив от дольки помидора, Володька галантно сует остаток в рот Ирине. Она машинально заглатывает кусок. Становится веселее. Вальяжного Киркорова сменяет жир-

ный кот Антонов, которого Ирина, вообще говоря, недолюбливает. Но Володьку уже не остановишь.

— За Юрку Антонова, хорошего человека, тоже надо выпить! Жаль, не пил я с ним в одной компании. Не беда, еще выпью! — и разливает по новой.

— За Юрку!.. — смотрит подозрительно на Иру. — Ты, курва, не отлынивай! Поди принеси салца из холодильника, да быстрее, а то он закончит...

Ирина приносит сала: Володька — человек зажиточный, у него в холодильнике всегда водится что-нибудь из съестного. Володька мигом нарезает сала, и вот они уже пьют за Антонова.

— Смотри, кого я вижу! Да здесь все мои дружки собрались! Машка Распутина — вот баба! Тебе до нее далеко...

Распутина, сверкая голыми ляжками, вызывая и зажигательно поет про то, что очень хочется ей в Гималаи.

Ирка вне себя. Наконец-то она встречается со своим врагом номер один! Вот она ей покажет! Ирка моментально скидывает одежду, остается в колготках и в маечке и начинает танцевать перед Володькой, подражая Распутиной, почему-то высоко вскидывая ноги и тряся своей большой грудью.

— Ну, смотри, чем я хуже твоей Машки? — кричит она и начинает изо всех сил вылить задницей и поводить в разные стороны локтями.

— Ах ты, мандовошка такая! — пытается остановить Ирку захмелевший Володька, но она вырывается и пускается прыгать так зло и напряженно, что пол трясется.

— Что? Разве хуже?! — надрывается Ирка и толкает Володьку обратно в постель. Володька падает, охает, говорит: «Дура!» — и плюется понарошку.

— Ладно, не хуже! — хрипит он. — Сядь, выпьем!

Они еще раз пьют за Машку и начинают танцевать уже вместе под других — под Ларису Долину, под Газманова, под всех. Ирка танцует, как ее учили в молодости — высоко вскидывая ноги и помогая себе руками. Володька, совсем пьяненький, — не в такт мотая головой, неуверенно переступая ногами и топчась на месте.

И если Володька танцует для себя, его взбудрил хмель, то Ирка танцует для всех этих экранных кривляк вместе взятых — смотрите, и пусть Володька смотрит! она не хуже их всех, хоть она и не в телевизоре, она лучше их, она им еще покажет!

Внезапно Володька поскользывается, покачиваясь, опрокидывается на Ирку, она не выдерживает такой тяжести и они вместе падают на пол. Володька задевает ногой табуретку, она опрокидывается вместе со стопками и ударяет по бутылке, стоящей на полу. Но тут Володька, ругая Ирку на чем свет стоит, ухитряется подхватить недопитую еще бутылку, бережно, трясущимися руками ставит ее у изголовья, наступает на подымающуюся Ирку и бьет ее по щекам.

— За что?! — кричит Ирка и плачет.

— А ни за что! — дразнит ее Володька и тащит в постель. — Угомонись, старая дура! А то больше не налью!

Они допивают бутылку, укладываются кое-как на постель и засыпают. А телевизор гремит всюю. Экранное гульбище продолжается.

НОРМАННЫ-ЗАВОЕВАТЕЛИ В ГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ЛАВКЕ, ИЛИ ЧЕГО ИМ ВСЕМ НАДО?

(монолог)

В древности, рассказывают ученые историки, далеко на севере, на скалистой тощей земле жили норманны. Жили они бедно и, как Бог повелел, в муках рожали детей и в муках добывали хлеб свой. И любили скудную землю, холили ее и собирали свой малый урожай. Но не этим знамениты норманны. Знамениты они тем, что не любили злых и гордых мужчин, которые считали себя не созданными для убогого уголка, в котором им суждено было родиться, которые не могли или не хотели выбирать себе суженую по душе среди плотных и ширококостных норманских женщин, которые считали себя созданными для доли иной и, бросив надменный взгляд на свою страну и женщину, испытывали неудовлетворенность и беспокойство. Таких учили суровые старики строить ладьи и пускаться в дальние края на желанный юг, чтобы не растить, а грабить, не любить, а насиловать и искать то, «не знаю что» до упора, до предела, пока не забьют как собаку, а в гаснущих глазах будут стыть желание и тоска по тому, чего нет и не было на белом свете. Никто их не останавливал, не оставлял дома — «хотите искать своей доли на стороне — валяйте, отваливайте, скатертью дорога». Сильные люди, порочные люди, несчастные люди, расплачи-

вающенся гибелью за свои неосуществленные жадные желания. Дураки!

Сейчас дураков нет. И грабежи, убийства, насилия и сейчас среди интеллигентных мужчин, слава Богу, редки. В наше время они шарят в основном не руками, упаси Бог, руками запрещено, а глазами. И еще телекамерами. Сейчас образцовый норманн — это оператор с телекамерой.

Вот вы уютно устроились дома в старом, а, может быть, и не очень старом, потертom, или, может быть, новеньком, покрытом толстым чехлом мягком кресле и смотрите концерт по трансляции. А оператор вкалывает. Но на сцену смотреть ему, как и вам, становится скучно и он уже разбойничает по залу, выскивая, как бы невзначай, женщин и девушек, хорошеньких или просто интересных. Эти, в зале, совсем не то, что нарумяненные и издерганные актрисочки. Эти не про вас. И телеоператорам они надоели, да и, скорее всего, не по зубам. А девочки в зале — то, что надо! Вот эта скромненькая, обаятельная с челочкой, на этой вы бы точно жились. А на этой? Нет, нет, у нее усталые глаза и злое выражение лица. Да еще тонкие губы — ведь вы терпеть не можете тонких губ? А оператору нравится. Даже странно. У вас с ним разные вкусы. Вот он еще раз возвратился к ней и еще. Это, очевидно, женщина его мечты. Как он неспокоен, как мечется! «Да не нервничай ты, оператор, найдешь себе такую. Ну не такую, так похожую». Опять к ней возвращается. Видно, не надеется, что найдет.

А я женщина. Товар то есть. К которому примериваются и прицениваются. Не слишком молодая, но еще и не старая. Не слишком красивая, но и не уродина. Одним словом, обыкновенная и в общем жизнью довольная, хоть и одинокая. Но одиночество мое как нож острый подругам и приятельницам. И хотя они-то пристроены, худо-бедно, пытаются все и меня пристроить к какому-нибудь мужчине. И не просто мужчине. Просто мужчины уже давно женатые и при детях. А к норманну-завоевателю с жадными глазами. И как я их ни убеждаю, что норманнам я не подхожу и ни за какие коврижки не нужна, убеждать моих подруг бесполезно. Только набредут на какого-нибудь норманна — сразу же мне телефонный звонок. Это Коля от Марины. Или Саша от Тамары. Я-то знаю, что этим Колям и Сашам лет под пятьдесят или за пятьдесят, что это уже поседевшие обрюзгшие мужчины с поредевшими волосами и поблекшими от постоянного разглядывания, разъеденными жадностью глазами.

И подустали они и выдохлись, а желание найти чудо, ухватить его за хвост, как жар-птицу, по-прежнему велико. Да вы таких мужчин тоже видели, тоже знаете. И не по кинофильмам о норманнах-завоевателях, а по галантерейным лавкам.

Много сейчас в магазинах людей, которые ничего не ищут, ничего не выбирают, а только примериваются и прицениваются. Среди них большинство женщин, но есть и мужчины. Мужчин меньше, но они серьезнее и целеустремленнее. Однако целеустремленность их мнимая. Кажется, что они настроены на покупку уже давно, готовились всю жизнь, настолько они напористы, грубы и активны. Мускулы их напряжены, думается, покажи им что-нибудь необычное и они ринутся за ним в бой. Вот они пробиваются к прилавку, отодвигают тебя боком, мельком обозревая и тебя, отодвинутую, затем глянут зорким глазом на товар, еще раз развернувшись, оттолкнут тебя, полупридушенную, притулившуюся за широким плечом и, не оглядываясь, пружинящим шагом зашагают дальше. Чего они ищут, к чему приглядываются и прицениваются, непонятно. Думается, нет на свете того, что способно потрафить их испорченному вкусу.

И вот как раз сегодня вечером звонок. Сочный мужской бас. Саша от Тамары. «Саша» он произносит полнозвучно, на глубоком выдохе, а «от Тамары» почти шепотом. Очевидно, ждет, чтобы женщина на другом конце провода пришла в восторг от неожиданного-негаданного мужского вторжения. «Я, Саша!» — как будто хочет выкрикнуть он. «Тот, кого вы ждали всю жизнь и, может быть, не дождетесь никогда! Я, Саша, земля непознанная или, как говорили в старину, терра инкогнита, и земля обетованная! Я, который приглашает вас отдохнуть на моей груди и раскрыть вам силу моего характера и глубину моего интеллекта, не оцененного по достоинству моим шефом! Но окупиться в эти глубины и утонуть в них я позволю только единственной женщине в мире и, может быть, — только учтите, я ничего не обещаю и не загадываю наперед, — этой женщиной будете вы!»

Сашин звонок оторвал меня от интересной передачи по телевизору и от вязанья, поэтому я еще как следует не врубилась, что это за Саша, и со значением переспрашиваю: «От Тамары?» — потому что о Тамаре я имею какое-то представление, Тамара смутно выплывает из моей памяти, а Саша нет. «От Тамары», — почти с ненавистью подтверждает он, ведь его существование, его мужская полноценность ста-

вятся под вопрос, в зависимость от какой-то там Тамары, а ведь она пока значит для меня больше, гораздо больше, чем он, Саша. «Да, Тамара мне что-то говорила», — транслирую я вслух смутные свои мысли и чувствую едва сдерживаемое яростное молчание на другом конце провода.

Простота моего тона, небрежность, сквозящая в моем голосе настраивают ворвавшегося в мой покой телефонным звонком норманна на подозрительный лад. Если его звонок стоит столь дешево, то почему?

«А вас не смущает такого рода знакомство? — спрашивает он, подумав. — Телефонное, заочное?». По психологии норманна, он неповторим и единствен, он храбр и мужествен, и никто, слышите, никто и никогда не кидался на завоевание неизвестной женщины так смело и опрометчиво, как он. Он уже видит себя в глухом, непуганном селеньи, в незженном и нехоженном бору, на девственной или почти девственной земле. Он единственный завоеватель, добравшийся в такую даль, первооткрыватель этих мест.

«Совершенно не смущает меня такое знакомство, — успокаиваю я его. — Вы знаете, мои приятельницы не оставляют меня своим вниманием и постоянно с кем-нибудь знакомят. В этом, ей-богу, нет ничего страшного и противоестественного, стоит только пообщаться несколько раз. Правда, времени иногда бывает жаль».

Опять молчание. Кажется, Тамара говорила, что ему уже за пятьдесят и его может хватить апоплексического удара. Ничего себе женишок!

Он слишком деликатен, нет, это я оговорила, скорее слишком труслив, норманны не бывают деликатными, чтобы спросить, что же не получилось у меня с предыдущими знакомствами, значит, он уже расстроен, разочарован.

Но я продолжаю. «Вы знаете, давайте я опишу вам себя, а вы расскажете немного о себе. Иначе мы при встрече просто не узнаем друг друга».

Молчание. Видно, вспоминает. Ясно, вспоминает, что лепетала обо мне Тамара, нахваливая свой товар. Вообще-то она хорошая, нормальная баба, но любит знакомить одиноких женщин с холостыми мужчинами и устраивать чужое счастье, поскольку в замужестве не слишком удачлива сама. Наверняка наговорила про меня, что я какая-нибудь красавица, одним словом, суперзвезда. А мое упоминание о многократных знакомствах теперь уже подстегивает его воображение. Бедняга, как еще потрафить своей гордыне!

«Я вас узнаю сам», — торжественно объявляет он и дает мне, наконец, повод для беспокойства. Что она там такое про меня наболтала?

«Вы знаете, — торопливо говорю я, — иногда мужчины не подходят к женщинам на месте свидания, даже когда им их полностью опишут, настолько описание не соответствует внешности. Со мной, правда, таких проколов не было, но только потому, что себя всегда описывала я сама».

«Не надо описывать, — строго говорит он. — Либо я вас найду, либо нет». Это уже почти ультиматум. Мой норманн Саша ищет свою мечту: если он узнает меня, значит — это победа, а если нет — значит, я к его мечте никакого отношения не имею.

«Вы можете завтра уйти с работы пораньше? — осведомляется он. — Завтра я свободен». Он с неожиданной щедростью предлагает мне не меньше полдня! Этот вопрос кидает меня в панику. Мне не хочется обижать Тамару, сводить на-нет ее усилия, но отпрашиваться с работы из-за норманна — это уж слишком большая жертва. Тем более, что он меня может и не признать. Запросто.

«Отпроситься с работы мне очень трудно», — быстро объясняю я. «Позвоните мне лучше в конце недели, в пятницу, например, и мы встретимся в субботу или в воскресенье». Ладно уж, чего не сделаешь ради доброжелательной приятельницы!

«Итак, завтра вы не сможете?» — тупая подозрительность, смешанная с негодованием и упрямством.

«Не смогу», — мне становится жарко от собственной вынужденной неуступчивости. Разговор начинает забирать у меня силы и властно вырывает из привычной жизни. «Как надоели эти норманны!» — с тоской думаю я.

«Тогда я позвоню в пятницу вечером», — безо всякого энтузиазма откликается он.

«Только не забудьте напомнить мне, что вы от Тамары. А то я еще забуду...»

Для норманна это уж слишком, это последний удар, который я наношу его самолюбию и который он не может перенести. Он вешает трубку. Больше не позвонит — это точно.

«Спасибо Тамаре», — со злостью думаю я, рассматривая гудящую трубку, рассеянно верчу ее в своей руке, а потом осторожно кладу на рычаг. Постепенно я успокаиваюсь. «А в чем, собственно, виновата Тамара?» — недоуменно переспрашиваю себя я, вновь принимаясь за вязанье.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПОЛЕ АНКЕ

Привкус дурдома неизгладим. Это лекарства, от которых сушит во рту, вонь от халатов и измученных неусидчивостью тел, которым устраивают баню под надзором рослых и безформенных бабок-санитарок раз в две недели. И если угрюмое и недоброе искаженное лицо соседки по палате можно тоже определить на вкус, то это мощный неизгладимый привкус дурдома. А гулянье пропахшей прелостью от долгого лежания, серой, опухшей от лекарств толпы по коридору, когда закрываются палаты, рассчитанные на двадцать человек, чтобы наполниться вечером, а ночью стонать, кричать, плакать или биться в маниакальном припадке? А сигареты, дым которых особенно горек, ядовит и въедлив после инъекций галоперидола, но которые не можешь не курить и тянешь с жадностью бычок, добытый в туалетном подоконнике? А туалеты без дверей с каким-то особым придурочным видом и запахом?

А ты, кем ты была? Объектом слежки номер один для КГБ, особо опасным государственным преступником, за которым и днем и ночью охотились безымянные стукачи!? Но агенты, рассованные везде — по жизни, по улицам, да и по дурдому в виде сестер, врачей, больных, куда-то испарилась и ты осталась как есть — маленькая Ирина Ильина, голый опухший человечек на маленьком, отпущенном тебе кусочке жилья в виде жесткой койки без тумбочки в огромной перенаселенной такими же психами как ты, больничной палате.

Ты была всем — тонкой стройной красавицей, красулей, от которой в метро мужчины немелли, а в автобусах — совали телефоны на память, а стала — опухшим, растолстевшим животным, которое хочет только жрать и спать. Лицо — в ужасном выщербленном зеркале старого шкафа — единственном зеркале на девяносто женщин — стало похоже на круглый отчетный старушечий лик, седые волосы — откуда они? — торчат во все стороны, шербатый рот с выпавшими зубами надо постоянно прикрывать, а он не прикрывается из-за липучей лекарственной сухости во рту, обложившей небо и язык. Огромный, выросший откуда-то за два месяца живот болит от раздувшегося сведенного мочевого пузыря, который не открывается, хоть ты тресни. Слава Богу, стали выпускать гулять — с медсестрой, с пересчетом, гуськом в каменном загоне. Гулять во всем чужом, казенном, государственном, с чужого какого-то нелюдского плеча — и заню-

шенные платки, и стертые драповые пальто, и чугунные ботинки весом, наверное, с тонну. Вот дурдом и показал тебе, кто ты есть — дерьмо, маленький человечек, вообразивший себя большим, точка во вселенском масштабе, привиделось — и расплачивайся, вообразила, насочиняла себе — и судима будь, занеслась по дураости — наказание неси!

Выходишь и видишь беседку — в ней мужчины, как будто вольные, не пришибленные лекарствами, не в казенных одеждах, а именно вольные — играют в карты. Скорей поворачивай глаза в другую сторону и плетись за сестрой — эти райские птицы не про тебя. Но вдруг один, как ударенный током, вскакивает и подходит к группе казенных старух, женщин без возраста, становится в картинную позу и говорит с поклоном: «Здравствуйте, Ирина Николаевна!»

Ира испуганно поднимает глаза, другие женщины смотрят на нее удивленно, насколько постоянный житель дурдома может удивляться, — и внезапно узнает: Володька, ее Володька тоже здесь!

«Я здесь по пьянке», — весело объясняет он, и от него и вправду пахнет спиртным.

«Даже и здесь...» — рассеянно думает Ирина и теряет к нему интерес, потому что надо торопиться за сестрой. Если не поспеешь — накажут, гулянья лишат! Вот и торопится Ирина, едва передвигая ноги от слабости, за командиршей-сестрой.

Почему-то вспомнилось ей, как они с Володькой ловили такси. Ловить такси с ним было просто мукой. Он непременно желал, чтобы от улицы Горького, где он основательно нагрузился, до Пушкинской его вез таксист. Но сам спектакль начинался, когда таксист, привлеченный купюрой, которой размахивал Володька, наконец-то сажал их в салон. «Вези, хам!» — кричал Володька, и таксист высаживал их вместе с Ирой прямо на укатанный лед мостовой...

А что еще-то было с Володькой? А ничего — туман.

А тогда была Встреча с большой буквы, встреча долгожданная и необыкновенная, если только не считать, что чудеса случаются на каждом шагу. Толпа заходит в аудиторию каких-то дурацких ведомственных курсов повышения квалификации. На Ире — зеленый брючный костюм, а впереди она усмотрела Керка Дугласа почти собственной персоной, великолепного, мощного и высокого. Достаточно было ее магнетического взгляда, чтобы Керк Дуглас послушно остано-

вился, пропустил вперед нахлынувшую толпу и сел рядом с ней. «У вас ручка не пишет, возьмите мою», — сказал он ей. Они и не думали ничего записывать, а в перерыве уже ее Керк Дуглас опять предложил: «Пойдем отсюда, погуляем!» Его звали Володей и было странно, что его еще как-то зовут, кроме Керка Дугласа. И сам он был, казалось, весь в импортном исполнении — ладно скроен, красив на любой, как Ире казалось, западный, голливудский вкус, одним словом — Керк Дуглас!

В этот вечер он был сначала трезв, а потом они выпили в подъезде. «А у меня есть сын, — радостно объявил он, — и жена, — он поморщился, — но все это не считая тебя! Ты у меня единственная, — знаешь, как говорят военные: одна женщина, одна Родина, одна мать».

Он произвел ее в «единственные» в первый же вечер, но намекнул, что он из другого мира, мира Керков Дугласов, генерал-майоров и генерал-лейтенантов, киношников, артистов и просто горьких кэжэбэшных пьяниц, побывавших за границей. Все это для Иры было внове. Она нашла своего Керка Дугласа, но его миру ей нечего было противопоставить — она одна, плюс две или три подружки, которые попытаются, конечно, Керка Дугласа отбить... А Дуглас кружил ее, крутил по кафе и забегаловкам, по небольшим рестораничкам в округе их курсов. Они танцевали, пили, снова танцевали и Дуглас, касаясь губами ее ушка, шептал: «А все-таки больше всех я люблю Пола Анку»... А потом снова о сыне, о своей жене, генеральском отпрыске, о мире киношников, артистов и высокопоставленных забулдыг, куда Ире не было ходу.

Она постепенно стала уводить его к себе домой, благо, жила одна, правда далеко, на окраине. После этого ресторанички прекратились и началось головокружение на дому — от спиртного, постели, музыки. «У тебя есть Мина? — спрашивал он. — Я слушал ее на концерте; она поразительно красива, как ты!» Ира обегала все магазины грампластинок и нашла мягкий и некачественный диск Мины. Они танцевали и обнимались под Мину. «А все-таки больше всего я люблю Пола Анку!» — говорил он. Ничего о Поле Анке она выяснить не смогла. Потом они лежали в постели, крепко прижавшись, и, казалось, что они действительно обрели друг друга, два человека из разных миров, а потом он неизменно допивал все вино, которое еще оставалось, одевался и уходил. Он исчезал, а она мучительно думала, как бы оттянуть

его из пьяного заграничного рая. Ну, мальчика, положим, она ему родит. Но откуда взять машину — а у него уже вторая, не его — женина; но где взять бар, наполненный заграничными виски и коньяками, как в женином доме, но... и, наконец, Пол Анка, — кто это такой, певец, наверное, или просто джазист, певец и музыкант из высшего общества и для него...

Постойте, постойте, а не съездить ли ей самой за границу и устроить кусочек заграничного рая в своей квартирке, конечно же под музыку Пола Анки? Такие командировки возможны и из их маленького министерства. Правда, придется пойти на жертвы, но только ради Володи, ради ее Керка Дугласа! Ира вспомнила, как на нее поглядывал круглый, лысеющий блондинчик, замначальника отдела внешних сношений, все говорили — матерый кэгэбэшник. Вопрос о заграничье надо решать с ним и ни с кем другим.

Через день было открытое партийное собрание. Ирина сидела на приставном стуле и с готовностью выслушивала последние партийные новости, которыми Партия делилась даже с беспартийным низшим подчиненным составом, и вот в зал заглянул круглый блондинчик и — уселся на один стул с Ириной, полубонял ее и со сладкой улыбочкой объяснил, что свободных мест нет, и он надеется, что ей не помешает. «Ну и нахал!» — подумала Ирина, а потом вспомнила, что он ей как раз и нужен. Кэгэбэшник пригласил ее в ресторан и получил ее радостное согласие, без труда под горячительные пары спиртного выяснил, что она живет одна и взялся проводить на такси, а что было потом — потом было то, что Ира представляла без особого стыда, но и без удовольствия — какое-то бултыханье в его свиноподобном теле, внезапно покрывающемся потом, — о, как все это было не похоже на восторженное, торжественное слияние с Володей, ее Керком Дугласом, ее звездным мальчиком, ее принцем и киноактером...

Свидания пришлось чередовать, надо было научиться чередовать, потому что Керк Дуглас мог позвонить в любое время и не только по телефону, но и в дверь, нужно было научиться не вздрагивать в объятиях этой рыжей свиньи, а лежать спокойно и даже ласково своего соседа по постели полубонимать. А «сосед» становился все требовательнее, назначал свидания чаще, и Ира, наконец, поставила условие — или свидания прекращаются, или она едет за границу. Кэгэбэшник, который называл себя Витей — даже отчества его

она не знала, а здоровались на работе так — кивком — на удивление быстро принял ее условие, сказав, что из ее отдела как раз им требуется один человек. И по-прежнему он — эта жиренькая маленькая свинка, прыгал в постель с удовольствием, а она — произнося про себя одно лишь слово «надо». Надо Пола Анку, надо хорошую, да просто роскошную мебель, надо — Володьку... Надо! А в промежутках между постельными сеансами, которые она про себя называла «гигиенической процедурой», кэгэбэшник рассказывал антиправительственные анекдоты, а она выжимала из себя улыбку. Все в нем, даже его анекдоты, были ей противны, вызывали брезгливость, как и его волосатые спина и грудь, как и его губы и смех.

Вместе с толстым одеялом Иру накрывал густой мрак и лишь где-то вдалеке брезжил свет — ее Керк Дуглас в обнимку с Полом Анкой. Когда в редкие часы счастья у нее в гостях объявлялся полупьяный с кривой усмешечкой Володька, то объявлялись почему-то и подруги, назначавшие ему свидания прямо при ней, либо пытавшиеся его из квартиры увести — испытывали его на прочность просьбами проводить до дома, до автобусной остановки, а то и просто — до туалета. Но Керк Дуглас честно отказывался — он был верен своей единственной любимой женщине — так он ее по-прежнему величал, а жена не в счет — «одна женщина, одна Родина, одна мать!»

Еще Ира слышала частенько: «Русский офицер был слегка пьян и выбрит до синевы, а советский — слегка выбрит и пьян до синевы...» Мило, не правда ли, и так похоже на Володьку! — любимый пьяный Керк Дуглас, а интересно, пьет ли Пол Анка? — но все это она узнает, когда выберется, скинет с себя толстое тяжелое одеяло тьмы и тяжелую жирную тушу кэгэбэшника. Осталось немного потерпеть. Совсем немного.

Сразу же после Нового года кэгэбэшник, конечно, женатый, Ирине не позвонил, а в министерстве перестал здороваться. От недобрых предчувствий Ира холодела и, когда в феврале за границу поехала не она, а другая — ей стало все ясно. И с той, другой, — и с ней самой. Другую значит, за границу, к Полу Анке, а ее? Ну, конечно, ее под топор всесильного КГБ — надо грех отмывать — и свой, и чужой. Она тайком стала ходить в церковь и молиться, своими словами. Не помогало. Она почувствовала за собой слежку, замечала косые взгляды коллег, которым рань-

ше не придавала значения. Жить стало страшнее и хуже, чем при кэгэбэшнике. Тьма сгушалась, неизвестно почему. Значит, за ней точно следят, решала Ира, но кто? Скорее всего многие, если не все, и даже Керк Дуглас! Кэгэбэшник сразу стал следить за ней, недаром рассказывал анекдоты. Пробовала петь советские песни даже в голос, если ей казалось, что за ней шел кто-то из преследователей, выбросила иностранные журналы, в основном «Плейбой» — подарок Керка Дугласа и кэгэбэшника — слезка не прекращалась.

Последнее время она стала подозревать соседку в связях с КГБ. Та почему-то очень часто приоткрывала дверь, когда Ира входила и выходила из квартиры. Наконец, Ира сообразила, что соседка назначена быть понятой при обыске. Значит, обыск будет очень скоро. А когда однажды мужчины в метро и на улице смотрели на нее как-то особенно внимательно, она вычислила, что обыск назначен на следующий день. Значит — завтра. Ночью она жгла томики Ленина, на которых когда-то сделала многочисленные пометки, а утром, когда она решилась выйти из дома в магазин, потому что понимала, что придут вечером, соседка приоткрыла дверь особенно явно, и тогда Ира дернула за соседкину дверь с другой стороны, так что соседка, маленькая и толстая, почти вывалилась на лестничную клетку, вцепилась в полы соседкиного халата и закричала, что это подло и гнусно со стороны КГБ делать обыск в частной квартире, что она, Ира, будет жаловаться в ООН и в Комитет по правам человека!

Соседка громко заверещала, звала на помощь, кричала, что Ира — сумасшедшая. Собрались люди. Ира бросила соседку и заперлась в своей квартире, где, одетая в пальто, легла на диван и закрыла глаза. Кто-то долго и громко стучал в дверь. Ира не открывала, а наоборот, встала и поставила у двери бутылки с водой, чтобы метать их в кэгэбэшников и защищаться до последнего вздоха. Действительно, зачем сдаваться просто так в их руки и не оказывать сопротивления! Когда дверь высаживали, Ира почему-то обмякла и метать бутылки не стала. Она спокойно сидела на стульчике в прихожей, полузакрыв глаза и ждала, пока высадят дверь.

Кэгэбэшники оказались почему-то в белых халатах. Они крепко схватили Иру за руки и препроводили в скорую помощь, стоящую у подъезда. «В психушку везут», — равнодушно думала Ира, трясаясь в неудобной машине. Она знала, что и туда забирают диссидентов и прочих инакомыслящих.

Когда ее раздели, взвесили и втолкнули в коридор отделения, она от неожиданности вздрогнула. Прямо по коридору, покрытому линолеумом, на нее шла серая толпа женщин в ужасных серых халатах, с перекошенными лицами и полузакрытыми глазами. Многие что-то бормотали, и от этого над толпой вился нечленораздельный шумок. Она пошла наперерез толпе, никто ее не удерживал, зашла в ординаторскую, где было пусто, и на чистом листе бумаги написала заявление в ООН о ее незаконном преследовании, задержании и помещении в психушку. Внезапно вбежала какая-то полная армянка, отобрала заявление и стала кричать на Иру, что та не имеет права ничего писать, и что у нее нет совести. Ира, поджав губы, вышла из ординаторской и вдруг мощные толстухи-сестры в белых халатах окружили ее и повели в постель. Одна была со шприцем. Ира попробовала было вырваться, но ее потащили за волосы и, когда дотащили до постели, то одна больная села ей на спину и зажала голову руками. Что было после укола — Ира помнила очень плохо. Первое время она, правда, не брала еду, потом не брала только те тарелки, по краям которых были капли — их она считала отравой, подsunутой специально для нее все-сильным КГБ. А потом просыпаться стала очень редко — только чтобы поесть и принять лекарства, и от острого голода ела все подряд.

И вот однажды она проснулась сразу после тихого часа и вышла из палаты. Было еще светло и закатное солнце золотило коричневый пол. Внезапно Ира с громадным облегчением поняла, что никто за ней не следил и не следит, и что КГБ она ни под каким видом не нужна, а тот толстый кэгэбэшник, с которым она спала, не преследовал ее, а свернул в сторону и сотрудницу из ее отдела за границу послали просто по благу, который толстый кэгэбэшник не смог перешибить, а, может быть, и не собирался этого делать. Получил удовольствие — и ладно. Ире стало весело, весело и спокойно, она почувствовала себя прежней, но взглянув на свой огромный живот и выпирающие висячие груди, поняла, что она уже другая, прежней Иры нет, и вряд ли когда-нибудь она станет ею...

И вскоре после этого ее открытия внезапная встреча с Володькой! Она смутно помнила, что за границу должна была быть послана по какому-то очень серьезному и важному для нее делу, но вот по какому? А ведь и Володька, этот пья-

ница, коим-то образом в это дело был замешан, но вот как? Отчаявшись вспомнить, она перестала думать и о Володьке.

Потом она видела его на больничном дворе довольно часто и всегда мимоходом — алкоголики, голубая кровь дурдома, не то что просто сумасшедшие, шизики, — гуляли без присмотра, сколько вздумается, и частенко резались в карты. Но говорить с ним скорее всего было бесполезно — она помнила, что он любил всегда нести какую-то непонятную чушь.

Однажды Иру навестила соседка. Она кормила Иру вкусным салатом из зеленого лука с яйцом и майонезом. Ира ела с обычной жадностью психов. Внезапно возник и подсел на скамейку Володька. На мгновение оторвавшись от салата, Ира с интересом на него посмотрела.

«А я больше всего люблю Пола Анку! — с воодушевлением произнес он. — И вообще я развелся с женой!»

«Ну и что дальше?» — подумала Ира, еще раз поглядев на него, вспомнила, что салат еще остался и, повернувшись к столу, стала доедать, вытирая хлебом края алюминиевой миски, которую выдали по случаю посещения.

КОФЕ

(монолог расстроенной женщины)

Жутко вздорю кофе. Непредсказуемо. У нас на работе относятся к этому вздорюванию по-разному. Одни никак. «Кофе — это не колбаса, — говорят они. — Проживем и без кофе, как и раньше жили. К тому же кофе вреден. Всем известно, что от него давление повышается!»

Одна наша сотрудница особенно кофе боится, даже ту безвкусную черную бурду, которую в нашей столовой заешеве продают. Так вот, если эта наша сотрудница эту бурду выпьет, то всему отделу на рабочем месте объявляет: «Я кофе выпила. Боюсь очень!» И сидит, ничего не делает — ждет, пока у нее давление повысится. И через полчаса радостно сообщает: «Ну вот, уже голова заболела, я же говорила!»

А я думаю, что все это от мнительности. Уж очень она убеждена во вредности кофе. И из-за чувства самосохранения — мол за отраву платить не буду, пусть цену хоть до миллиона повышают.

А я, чтобы ее позлить, старинную историю рассказываю о том, что англичане лет триста назад тоже очень опасались иностранных восточных напитков — чая и кофе, и поэтому решили испытать их на двух приговоренных к смерти преступниках — одному помимо скудной тюремной пищи регулярно давали чай, а другому — кофе, давали по три раза в день, все равно эти преступники были никуда не годный человеческий материал, подлежащий уничтожению. И что же? Может быть, организм воспрянувших духом преступников успешно боролся с дурными напитками и закалился в этой борьбе, а, может быть, чай и кофе укрепили его. Но только один дожил до семидесяти одного года, а другой — до семидесяти трех. Какое питье позволило урвать у жизни лишние два года, я не помню, но думаю, что это не так уж существенно — до семидесяти при нашем уровне смертности еще дожить надо, а потом уже думать, на чем лучше остановиться и поставить точку — на семидесяти одном или семидесяти трех...

А я кофе полюбила. За что, не знаю. Впрочем, догадываюсь. Пью обжигающую темную жидкость по утрам и думаю о том, что пьют ее художники и артисты, стараясь прийти в себя после вчерашнего творческого или какого иного похмелья, пьют предприниматели и бизнесмены, пьют американцы и англичане в особенности, которые, приходя друг к другу в гости, задают такой элегантный вопрос: «Ти, о коффи?». То же спрашивает прелестная секретарша у своего солидного шефа, а он, мельком оценив ее свежесть, молодость и новый туалет, брякает небрежно: «Коффи плиз». Кофе пьет весь цивилизованный мир, избранная его верхушка, и, глотая густой ароматный напиток, я как бы приобщаюсь к международному ритуалу — утреннего вкушения кофе. Наслаждаясь кофе, я поднимаюсь над своим бытом, я уже не просто и не только рядовой инженер, которого того и гляди — сократят, я автоматически перехожу в другую категорию, в другое измерение — я человек, пьющий по утрам кофе, а, значит, человек с деньгами, с положением в обществе, с артистическими задатками, с неумным честолюбием, с пробирающей стены энергией. Прихлебывая кофе, я преображаюсь и становлюсь привлекательной, как голливудская кинозвезда, небрежно пьющая утром кофе в постели после изматывающих вечерних коктейлей, от которых невозможно было отка-

И вот кофе вздорожал так дико! Одни говорят, что инфляция; что за него валютой платят, другие — что неурожай кофе где-то в Африке или в Латинской Америке. Все страшнее и страшнее жить становится. Кругом мировые катаклизмы. То поезд взорвался, то Союз распался, то самолёт в Японии потерпел крушение. И преступники совсем осата-нели...

Раньше, несмотря ни на что, я жила спокойно, особого внимания на эти катастрофы не обращала. Не со мной же они происходили, правда ведь?! И теперь только поняла, что в эту черную мировую воронку сплошных невезений и неудач и меня засасывать стало. И все из-за нашей подлой инфляции! Был он еще три года назад по сорок рублей кг, а сейчас и не знаю — сколько? Даже смотреть боюсь. Совсем плохи мои дела. Одна я осталась, сломался мостик, связывающий меня с цивилизованным миром. А самое главное, чувствую, нутром чувствую, что кофе продолжают пить и наши миллионеры, и американские, и голливудские кинозвезды, и наши российские проститутки!

А я нет. Выбросило меня судьбой за борт в серую жижу повседневности. Полжизни отдам за глоток утреннего кофе и за свою красивую мечту! Люди добрые, что же это такое происходит на белом свете, а?!

ПЕРВАЯ БАЙКА ИЗ МАШБЮРО

Сама я была машинисткой. И работало в машбюро нас двое: я да Наташка. Наташка — баба ласковая и терпеливая, содержала она мужа и ребеночка. Муж был у нее художник беспорточный, а ребеночек?! — какой с ребеночка спрос, ребеночек-нахлебничек, дитё малое, неразумное.

А я одна жила, все денежки на себя тратила, по-всякому себя ублажала, но счастливой не считала — одна ведь, какое одной счастье? А Наташка — ласковая баба, веселая, любила счастье свое расписывать, мужа и ребенка похваливать. И приладилась ко мне чай пить. Я пью и она — мою заварочку занимает, мой сахарок в чай распускает, своей ручкой в мой кулечек лезет и плюшку либо сухарик хватает и в ротик опускает.

А я ее слушаю, над своим одиночеством слезы лью, ее счастьем дивлюсь, а как кончим чай пить — смотрю — а пол-

кулечка сухариков да плюшек след простыл. И наемкнуть-то ей боюсь: мол, моего не ешь и не пей — ведь мужа баба содержит и ребенка, а сама голодная ходит; может, это долг мой — беднякам помогать и не жадиться. Да хоть я себя так уговаривала, все равно старалась я не смотреть, как Наталья свою руку за моим сухариком тянет. А потом привыкла. А она стала норов свой выказывать — сухарики покупай ей только с маком да с изюмом, пряники — только шоколадные, а другие она в рот не возьмет. Рассержусь я, бывало, — простые куплю. Гляжу: она их уминает, ребеночка своего расписывает, а я ее так заслушаюсь, что только слезки мои — кап да кап.

Потом опять спохвачусь, когда в булочную бежать надо, — тогда думаю, что благо для Наташки делаю, даже, может, к себе привязываю, и стыдно мне об этом думать становится, благо-то надо делать просто, а не так, чтобы думать о нем и пользу из него извлекать. А какая мне польза-то от Наташки — тьфу, пропади пропадом мысли окаянные, что в голову лезут!

А однажды летом пошли мы с Наташкой купаться. Шли по-над озером, вдруг я поскользнулась, в воду плюхнулась и тонуть начала. И голосить: «Спаси меня, Наташенька, Христа ради, спаси!» А она: «Я жена и мать, ради тебя в воду не полезу, а то, неровен час, сама тонуть стану, кто будет моего ребенка воспитывать?!» И тут, Бог его знает, как, точно все пряники и сухарики, которыми я ее закармила, к ногам прилепились и на дно тащат. «Пряничная моя, сухарная, — кричу, — я ли тебя не кормила, от себя отрывала, в малом помогала, чем могла, а ты мне в большом помощи — жизнь мою спаси!» А она с берега кричит: «И не стыдно копеешные дела свои вспоминать?!»

Понимаю, что напрасно я на нее надеялась, не я ее своими пряниками и сухарями зацепила, а она меня — держала, держала, да отпустила. Чувствую — тяжело очень, не выбраться мне, не выкарабкаться и зацепиться не за что, тут я и утопла — судьбе покорилась и, известное дело, на небеса вознеслась. Плакать-то по мне все равно некому! Хорошо мне так, благостно.

А как соскучусь по живому миру да по подруге моей Натальюшке, вниз опускаюсь, к родному машбюро подлетаю, в окошко смотрю — сидит моя Натальюшка одна-одинешенька и слюнку голодную глотает. И весело мне становится и стыдно. Подлетаю я к форточке и пою: «У моей под-

ружки пряники да сушки из моей кормушки...» Оглядывается Наташка, как ошпаренная, — никого нет, и снова слюнку проглотив, по машинке тюкать начинает.

А мне хорошо, а мне вольготно — каждому свое, значит: Наташке жизнь земная в избытке дадена, а мне — небесная...

ВТОРАЯ БАЙКА ИЗ МАШБЮРО

Я в машбюро уже десятый год безвылазно работаю, а другие машинистки все время меняются — кто в декрете, а кто — и так просто, по необходимости, по деньгам.

Помню времечко, когда сидели еще две машинистки — одна многодетная, а другая бездетная, но многолюбившая. Довольно горя я с ними мыкала, за троих всю работу делала. Бывало, в понедельник приду на службу, и звонки начинаются. Сначала бездетная, но многолюбившая звонит. «Верочка-душечка! — в телефон кричит. — Мы тут с компанией на дачу ездили да подзадержались. Звоню со станции, буду часа через два, ты уж что-нибудь придумай для начальницы!»

Потом детная звонит: «Вера-голубушка! — кричит. — Мой меньшей кашляет что-то, всю ночь не спала, к врачу бегу, буду часа через два. Ты уж как-нибудь передай начальнице!»

Сижу я, потихоньку тюкаю, за них отрабатываю. На мое горе, приходят обе через два часа, обе взъерошенные, невыспавшиеся. А как придут — друг с дружкой сцепятся. Детная кричит: «Ты что опаздываешь? Лет-то тебе сколько, а все ума-то нет!» А бездетная: «Я свою личную жизнь устраиваю! А ты что опаздываешь?»

«А я-то детей рощу — не ропщу! А ты до старости все будешь свою личную жизнь устраивать — опаздывать!»

«А ты до старости детей растить — сопли вытирать! А их вырастишь — внуки пойдут, опять-таки слабенькие да сопливенькие!»

Такой тут ор подымается, что работать никакой мочи нет. Но я молчу, тюкаю себе потихоньку.

Слава Богу, уволились они. Тут бы и байке конец, да только не все про них рассказала, кто из-за чего уволился. А уволились обе по глупости, по молодости — и детная, и бездетная.

Детная влюбилась в мастера по машинкам. Был он парень заводной, высокий. Когда первый раз зашел; тут детная на него глаз положила и потом что-то часто у нее машинка ломаться стала. Однажды он до позднего вечера машинки чинил и она с ним оставалась. А на следующий день приходит детная; вся заплаканная и признается: «Девки, впервые в жизни влюбилась, верьте-не-верьте!» А я хоть ей поверила, но все же удивилась, как же она за своего-то мужа вышла? А она: «Так и вышла! — говорит. — Замуж очень хотелось!» «Замуж без любви? — кричит бездетная, — А я и не знала, что за мужем без любви жить можно!»

И вскоре уволились обе. Многодетная сказала, что берет ее мастер по машинкам на содержание, а когда со своей предыдущей женой разведется, то позволит и одного ребенка взять.

А бездетная, но многолюбившая сказала, что на север подается, мужа искать, мол, любовь — любовью, а личную жизнь давно устраивать пора! И сгнули обе, как в воду канули. Многолюбившая, слышать, на севере сгнула, спилась; а детную мастер бросил, а муж из дому выгнал.

Так я одна в машбюро и работаю. И чего это молодежи, спрашивается, надо? — непонятно мне. Оставалась бы каждая при своем интересе — нет, им чужой доли надо, как воды морской нахлебаться, а потом и выплюнуть, чтобы на-смерть не захлебнуться! Чужая жизнь — она ведь горька и солонa. За свою бы держались девки — и дело с концом!

ПРИБЩИЛСЯ

(байка)

Был у нас в поселке Борьба-бахвал. Не зря его так прозвали. Вот послушайте!

Собираются у нас молодые ребята у клуба вечером и начинают орать под гитару. Песни какие-то блатные или полублатные. А Борька откуда-то появляется и стоит в сторонке. Он маленький, узкогрудый, на него никто внимания не обращает. Поют дальше. Он слушает, слушает, иногда губами шевелит. И вдруг ни с того, ни с сего говорит громко, басом, почти кричит, даже непонятно, откуда голос в такой цыплячей груди берется, так вот, перешибая поющих, говорит: «А

я, например, люблю песни петь!» Все парни на секунду замолкают, а потом кто-нибудь кинет презрительно, как сплюнет: «Опять, дурак, песню испортил! Чего ты все «я» да «я»?»

«А я к человечеству приобщаюсь», — отвечает Борька неторопливо.

«Не тронь его, пускай приобщается», — скажет другой и ребята орут дальше.

Или сидим у кого-нибудь, гужемся — и помоложе мужики, и постарше — и пьем, откровенно говоря, водку или еще хуже, самогон. И закусываем солеными огурцами домашнего засола. У нас народ культурный — когда пьет, обязательно закусывает. И Борьке, видно, тоже огурца хочется, но он ждет, пока все огурцы разберут и один или два останется, а потом немного подумает и провозглашает: «А я, например, люблю соленые огурцы», — и возьмет огурец. Кто-нибудь отрежет недовольно: «Все любят, не ты один!» А Борька солидно объясняет: «Я к человечеству приобщаюсь!»

Однажды бригаде строителей премии и почетные грамоты давали за успехи в производстве. Давно это, конечно, было. И Борька был на этом самом строительстве на подхвате. То кирпичи таскает, то котлованы роет. И ему премию дали. Приехал представитель из города. Устроили торжественное собрание в клубе. Бригадир всех своих на сцене выстроил. Все руки жали представителю, благодарили. А народ в зале ждал, что Борька отколет. Борька грамоту взял, руку пожал, а когда представитель на свое место пошел, Борька не утерпел и пробасил: «А я, например, отлично работаю!» Представитель вздрогнул и оглянулся, на бригадира поглядел. А бригадир усмехнулся и объясняет: «Это он так к человечеству приобщается». Понял представитель, не понял — трудно сказать. Но успокоился, на место вернулся и торжественная часть продолжалась.

Только эти выступления Борьке боком вышли. В нашем поселке все его знали. А в других нет. И вот однажды нашли парня из соседнего поселка мертвым. И эти соседи решили, что наши ребята на него за что-то напали и насмерть забили. И собрались соседи в субботу нашим отомстить. А наши и не знали об этом; в клубе, как обычно, танцуют под магнитофон. А ребята из другого поселка клуб окружили, камень в окно кинули и кричат: «Выходите, сволочи, признавайтесь, кто нашего убивал!» Магнитофон сразу выключили. Тихо стало. Свет вырубили. Нас недалеко от клуба человек несколько было, которые постарше, но сде-

лать мы ничего не могли — видели, что у чужих обрезы есть. Хорошо организовались, гады!

И вдруг из подъезда клуба выходит Борька-бахвал, оспавливается на высокой площадке, со всех сторон виден, и басит на всю округу: «А я, например, никого не убивал!» Тут выстрел — хлоп — и Борька падает.

А чужие быстро смылись. Только Борьке от этого легче уже не стало. Одним словом, приобщился...

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В начале застолья были принесены в дар хозяйке яичные скорлупки для курочек — им, увы, всегда не хватает кальция, а в конце вечера уже хозяйка в дар гостям благодушно отдавала ими же обглоданные куриные косточки для их собственных кошек и собачек с предупреждением, какую можно отдать собачке, а какую — кошке, ведь трубчатые куриные косточки, как известно, при неумелом обращении с ними собачек могут и, не дай Бог, поранить собачий пищевод. А в промежутке между началом и концом, несмотря на инфляцию, непомерные цены и дефицит на продукты питания, было много чего: салатки из свеклы и моркови с грецкими орехами и майонезом, зимний мясной салат с картофелем и луком, соленая кета и прекрасная импортная колбаса и даже, несмотря на время, бутерброды с маслом и красной икрой, причем бутербродов было там много, что гости, съев по одному и стыдливо опустив глаза, отрезали от непечатого бутерброда половинку и ели — и все равно оставалось еще. Не надо было даже делить половинку с напускавшим на себя маску великодушия товарищем по столу. А на сладкое было вообще изобилие — грецкие орехи, перемешанные с изюмом, бисквитный торт, смазанный между двумя коржами вареньем и взбитой сметаной, и пропитанный яичным ликером, и куски купленного в кооперативе «Птичьего молока», ровно по числу гостей.

Столь же богатой была и выпивка: две бутылки «Мукузани», графинчик иностранного спирта, смешанного с вареньем, и графинчик яичного ликера, собственноручно приготовленного хозяйкой. Последние напитки были очень крепкими, и гости выпили их по чуть-чуть, за исключением одной, тоже постоянной, но с некоторыми странностями, которые, впрочем, гостям прощались. Она, как всегда, предпочла напиток

ся, и все подливала себе ликер и спирт, обходя вниманием «Мукузани».

Этого нельзя было сказать об остальных гостях, ибо они были исключительно женщины, с которыми хозяйка либо когда-то работала, либо еще училась в школе. Каждая делила с хозяйкой свои маленькие тайны и маленькие воспоминания, но именно свои, потому что периоды ученья и дружбы с хозяйкой у разных женщин не совпадали. Друг о друге они знали мало, ибо виделись раз в году зимой, в хозяйкин день рождения, и поэтому жизнь и дом одной гостьи для другой представлялись почти что ирреальными, призрачными, слабо намеченными в интимных разговорах самой хозяйкой — у кого-то был муж и взрослый сын, у кого-то ребенок был еще невелик, у кого-то была дача, сад и собака, а у кого-то — всего лишь престарелые родители и более ничего. И поэтому общей темой для разговора служила подаваемая еда, и гости хвалили, благодарили и прямо-таки благословляли хозяйку и именинницу, желая ей успехов именно на этом поприще, потому что большинство гостей имело лишь смутное представление об ее основном поприще — искусствоведческом и упирали на то, что хозяйка прежде всего не искусствовед, а искусница-кулинарка. Присутствовала и приглашенная нынешняя хозяйкина коллега по работе, но она как будто стусевалась и не стремилась открывать маленькие рабочие и профессиональные тайны, которые делила с хозяйкой.

Возникло, правда, небольшое недоразумение — воспоминание тридцатилетней давности о том, что еще в старших классах школы хозяйка отбила у той, что напилась не в меру, поклонника, первого красавца класса, да и то разговор возник по вине напившейся, и хозяйка его быстро замяла, объявив, что красавец был не так уж хорош собой, и что она его отбила лишь по той причине, что сильно любила.

И тема была исчерпана, потому что гости о любви вспоминали вяло, но зато вытвердили за свой немалый век, что любовь — аргумент веский, нешуточный и с ним следует считаться.

На прощанье они любезно пожелали друг другу благополучной встречи через год и ушли группой. Но та, изрядно захмелевшая, от группы отделилась, поскольку ей было в другую сторону. Она шла в ночи слегка нетвердо и ужасалась тому, что через год увидит те же костистые угасающие лица, заострившиеся, тающие на щеках и подбородке, и от-

мирающую, дряблую плоть шеи, но чувствовала, что магнит недолгого, скупого на радости, как и ее лета, праздника притянет ее вновь и она вновь напьется, чтобы не глядеть вокруг и не слушать бреда, произносимого за праздничным столом стареющими женщинами, и снова припомнит что-нибудь несурзное, неприличное, из ряда вон выходящее, и хозяйка торопливо, умело и уверенно осадит и обезвредит ее, а потом все гости нетвердую походкою разойдутся, рассеются в ночи...

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ФУНКЦИИ

Кирпичный двухподъездный дом в пять этажей построили лет через десять после Переворота. В одной из комнат в квартире на третьем этаже поселили одинокого бухгалтера средних лет. Бухгалтер, в отличие от других бухгалтеров, работавших в его учреждении и сидевших на той же должности и том же окладе, имел высшее образование, но, поскольку он был беспартийным, его даже и не прочили в старшие бухгалтера. Наш бухгалтер однако не отчаивался и не кланчил у жизни тех благ, на которые, по внешним обстоятельствам, не мог и рассчитывать, но все свободное от работы и несложных хозяйственных дел время посвящал решению математических и шахматных задач, до которых был великий охотник.

Минуло лет семь или восемь после заселения дома, и на благополучных жильцов, которые, в общем-то, считали себя не обделенными судьбой, напала эпидемия, долгие годы опустошавшая страну, — их стали сажать — сажать поодиночке и семьями, сажать поквартирно и покомнатно, но как-то вразнобой: то с пятого этажа, то с первого: то из первого подъезда, то из второго. Эпидемия посадок охватывала дом с тяготившей всех медлительностью, которая еще больше усугубляла неотвратимость посадки, но кого? Кто будет следующим? Этого знать было никому не дано. «От судьбы не уйдешь!» — тяжело вздыхали жильцы.

«Рок, судьба», — эти слова задевали нежного душой бухгалтера и растревляли его собственное ожидание. Ведь он еще застал в гимназиях преподавание закона Божьего и хорошо понимал, что эпидемия посадок распространяется человеком, а не Богом, пусть даже человеком-горой, присвоив-

шим себе имя Божье и право распоряжаться чужой судьбой, но все же человеком, а не Богом.

Но объяснять жильцам свое понимание дел бухгалтер не стал из-за политической обстановки и собственного, крайне осторожного и осмотрительного к ней отношения, однако свое тайное понимание в тишине своей комнаты решил расширять и углублять, с тем, чтобы вычислить свой срок и черед. Допустив, что посадки — дело рук человеческих, бухгалтер решил, что они совершаются неким Математиком из приближенных Вождя, скрытым вредителем, которому наивный и добрый Вождь оказывает свое безусловное покровительство. Этот математик, с жестокой целью усугубить муки ожидания будущих своих жертв, изобрел некую сложнейшую математическую функцию, в соответствии с которой он и распространяет свою посадочную эпидемию.

И бухгалтер, доселе с покорностью встречавший превратности судьбы, решил Математику не покоряться и попытаться его упредить путем вычисления этой сложнейшей функции и ее экстраполяции на собственную судьбу.

Такие крамольные мысли роились в хорошо упакованной черепной коробке бухгалтера и единственное орудие дьявола — язык, мог бы выдать их, но язык, тренированный долгим профессиональным молчанием, был надежен у нашего бухгалтера настолько, что ему могли бы позавидовать инженеры и тем более вышестоящие работники.

Обилие бухгалтерской работы вовсе не мешало ему мыслить бухгалтерскими и математическими категориями максимально плодотворно. И вот, все вечера, принимая во внимание свежую, комнатную, частноквартирную посадку или даже посадку в соседнем доме или бараке, он изучал, индуцировал, проецировал и экстраполировал, используя статистику, приближенные вычисления, анализ бесконечно малых и т. д. И, наконец, о, счастье! теория пошла по правильному руслу!

Бухгалтер был в вычислениях максимально точен и скрупулезен, и как он не вертел своей дорогой функцией, какие бы фиксированные элементы не подставлял, выходило, что он должен быть спасен и не тронут! Конечно, не он один. Некоторые из его соседей должны были быть спасены вместе с ним. На таких он поглядывал более благожелательно, как на тех тварей, на которых поглядывал добрый старик Ной, осматривая их стать и пригожесть для новой слепопотопной жизни.

Но внезапно вечное перестало быть вечным: добрый Вождь и Отец народов приказал долго жить, а злой Математик, очевидно, вышел в отставку. Вскоре стал пенсионером и бухгалтер, и на пенсию стал попивать пиво у ларька с бывшими солдатами, вспоминая о великих своих подвигах, которым бухгалтер завидовал — ведь всю войну у него была бронь, да и «особое госзадание», которое он делал на свой страх и риск. И обидно было ему слушать рассказы о заслугах перед Партией и Вождем — ведь и ему полагались три ордена: один — за конгениальность с высоким и злым другом лучшего в мире Вождя, другой — за нераскрытие государственной тайны — хотя он никакой подписки и не давал, но тайну вычислил сам и понял, какую великую ответственность возложила на него судьба — и с этой ответственностью он справился.

А помимо всего прочего, как человек в самой глубине своей души — верующий, он был страшно горд, что испытал веру сомнением и неверием в свою судьбу, дарованную Господом, а потом обрел веру вновь и выжил наперекор всему и всем благодаря своему глубокому знанию математики, которая дарована от Бога.

Поэтому, стоя у пивного ларька, он от души поддакивал контуженным и одноруким франтоватым фронтовикам, и они принимали его за своего, потому что чувствовали, что ему есть, что сказать, но тайны своей великой он не расскажет никому, да и у всех выпивавших тоже была какая-то тайна, и поэтому тайна, да пиво, да хороший глоток водки единили их друг с дружкой, бодрили и давали возможность жить дальше.

ОЖИДАНИЕ

Нина Леонидовна еще сидела за работой, когда опустилась тьма. Тьма нынче наступала рано, в четыре с небольшим. Электрический свет не было нужды включать, Нина Леонидовна и так его жгла безбожно, даже днем, во-первых, потому что ее рабочая комнатка с письменным столом и книгами сама по себе была темновата, а плотные гардины Нина Леонидовна никогда не отодвигала целиком, а во-вторых, чтобы предварить наступление сумерок и тьмы, чтобы раньше времени не впасть в транс и страх, которые она испы-

тывала с некоторого времени после смерти мамочки в своей крошечной двухкомнатной хрущобе.

Работая дома днем (она брала работу на дом, числясь бухгалтером в небольшом коммерческом учреждении), она не включала ни радио, ни телевизор — они мешали сосредоточиться. Днем она работала и отвозила, и делала несложные покупки. Но когда наступала тьма, мрак остальной части квартиры усиливал ее тишину и глухоту. Поеживаясь от страха, Нина Леонидовна на цыпочках бесшумно подходила к входной двери, не включая свет в передней, долго вглядываясь в дверной глазок, вне зависимости от того — темно ли было на лестничной площадке или светло, долго прислушивалась к шорохам подъезда, в полумраке передней щелкала в двери еще одним дополнительным и предохранительным замком, и так же бесшумно на цыпочках удалялась в свою комнату, к спасительному письменному столу, освещенному настольной лампой.

Но продолжать привычную работу уже не могла, напряжение сковывало ее.

Недавно в одной из квартир на ее площадке нашли плававший в ванной труп молодой хозяйки квартиры, которая то ли умерла с перепою, от разрыва сердца, то ли пьяную утопил в ванной ее любовник — огромный парень с отечным лицом, которого видел весь подъезд. Молодая хвасталась, что он очень любит ее и поэтому бьет и даже грозит убить, если она его бросит. И вот такой конец! Труп дочери обнаружил отец, приехавший вечером, а шаги любовника на лестничной клетке соседи якобы слышали еще в четыре дня, когда тьма только подкрадывалась, чтобы сжать и пожрать ночью свой урожай.

Раньше, в другие времена, Нина Леонидовна слыла боевой среди знакомых мужчин и женщин — знакомилась на улице, проводила время за выпивкой в привычных компаниях, возвращаясь веселой, пьяной или полупьяной в час ночи. Не брезговала и театрами и кино — на последний сеанс. Но сейчас времена, а вместе с ними и настроение и летá Нины Леонидовны изменились как-то сильно и внезапно, особенно, когда дочь одной из ее подруг — нежную, чудную девочку, только-только начинавшую кокетничать с мальчиками, зарезал ножом пьяный хулиган — в лифте, на окраине Москвы. И потом, Нине Леонидовне неприятно было в этом признаваться, весь страх за ее благополучное возвращение брала на себя ее старенькая мать, ожидая, дрожа, надоедая звонками

подругам и сидя одетой в своей комнате, чтобы в любой момент, в любую грязь и склизь идти выручать свое дорогое, взрослое, но такое безумное чадо из беды.

Мама умерла, а страх остался и перекинулся на Нину Леонидовну, подстергая ее сразу же после наступления тьмы. Раньше Нина объясняла маме, что она нужна только своим приятельницам и любовникам, а остальным мужчинам — даже ворюгам, даже разбойникам — что брать? — даже насильникам она не нужна и не интересна.

Но старые времена канули в небытие, всех этих нормальных человеческих хулиганов не стало, и на смену им пришел Садист и Бандит. Это ему могут понадобиться ее небольшие сбережения и золотые безделушки, оставшиеся от мамы, и ее постаревшее тело, чтобы резать, кромсать, терзать, выкалывать глаза и, наконец, — убить! И она как будто даже ждала его в своей квартирке, как будто бы знала, что он, то есть Садист и Бандит, когда-нибудь придет, и их свидание неминуемо. А тьма и тишина — его союзники и сообщники, обеспечивающие безнаказанность его жестокости и безумию. Безумен он, и безумна она, его жертва. Может быть, убить себя газом или порезать вены, чтобы не достаться ему живой?!

Нина Леонидовна еще раз бесшумно обходит квартиру и проверяет все форточки — крепко ли они закрыты. Ведь Он, люди говорят, может проникнуть и через них. Да, еще надо зашторить окна, а то дом напротив очень подозрителен, и однажды в окно соседки оттуда выстрелили из духового ружья и разбили стекло. Где-то там, на чужой территории, может оказаться и веселый садист-снайпер, которому все дозволено и который невзначай может прицелиться и в Нину Леонидовну.

Может быть, стоит отвлечься от тяжелых мыслей и посмотреть телевизор? Не включая света, Нина Леонидовна проникает в бывшую мамину комнату и включает яркое искусственное окно телевизора. Но живущие там люди как-то спокойные, неспешные, тоскливые, говорят полулениво о какой-то политике и экономике, как будто по улицам об эту пору не крадется Черный Зверь! Но вот напоминание о нем, вот, вот оно: разыскивается — и тут же фотография красивой, уверенной в себе женщины лет тридцати пяти, которая пропала в центре Ленинграда, то бишь Санкт-Петербурга, в час ночи, вместе с собачкой, с которой вышла погулять. Может быть, Черному Зверю нужна была ее печень или серд-

це или он насилывал ее мертвую, а труп спрятал в выгребной яме или канаве? Во всяком случае, она, такая прелестная и смелая, отдала себя на растерзание Черному Зверю и се нет среди живых...

Нина Леонидовна мечется, переключает с программы на программу, наконец, находит какие-то глупые мультяшки и оставляет экран гореть, выключая звук. Лучше радио — какой-нибудь коммерческий канал, где одна реклама и утешающая Барбара Стрейзанд с Элтоном Джоном в придачу. Они живут в таком мире, откуда, что бы там ни говорили, Черный Зверь изгнан раз и навсегда. Они свободны, чужд грустны и наивны — и все потому, что не боятся быть убитыми и растерзанными каждый вечер и каждую ночь.

Но вот голос диктора на русском языке быстро и тревожно призывает — кого? Ну, конечно, же ее, Нину Леонидовну, поджидающую Черного Зверя: «Выйдя из клуба юных программистов, по пути домой, пропал мальчик в курточке шестнадцати лет, с карими глазами. «Какой ужас! — думает Нина Леонидовна. — Этот Черный Зверь всевластен и вездесущ, только что он был в Ленинграде, а теперь уже в Москве избрал себе в качестве жертвы юного мальчика, обрекая его на страдания, пытки и смерть, смерть, смерть!..»

Она мужественно выслушивает объявление до конца, выключает радио и тихо крадется в свою комнатку, чтобы бессильно упасть на постель и скрючиться в немислимой позе. Ей становится ужасно зябко в натопленной квартире, ее просто пробирает мороз, и вдруг она слышит резкий, пронзительный в тишине телефонный звонок — и снова, и снова... Может быть Черный Зверь в пустой квартире и проверяет, дома ли она? Не включая света в передней, она на цыпочках крадется прямо к двери и заглядывает в глазок. Площадка пуста, но это ничего не значит, может, он притаился рядом с автоматом — и стоит взять только телефонную трубку, как сигнал ему из пустой квартиры будет подан и он начнет выламывать дверь или стрелять в нее из автомата с глушителем, чтобы добраться до нее, до ее тяжело и гулко бьющегося сердца, до ее слабого тела.

А телефон все звонит. Что делать? Может быть, рискнуть? Нина Леонидовна берет трубку, сначала молчит, молчат и на другом конце, потом внезапно хрипло спрашивает «Кто?!»

— Бонбончик, ты что, умираешь, что ли? — закричал в трубке веселый голос Нининой бывшей одноклассницы, Лены, с которой она уже лет тридцать поддерживала отношения и

которая по-прежнему называла ее дурацкой школьной кличкой. Протестовать было бесполезно — и Нина Леонидовна в ее-то годы покорялась и на кличку отзывалась.

— Ты откуда так поздно? — угрюмо спросила Нина Леонидовна.

— Из гостей, конечно! — отвечал веселый голос. — Мне нужно будет заскочить к тебе завтра, часов в десять. Надо заявление напечатать, а то у меня машинки нет. Сделаешь, Бонбончик, ладно? Я много времени не займу!

— Ладно, — неохотно соглашается Нина Леонидовна, подумав о том, что придется открывать по звонку входную дверь.

Входную дверь она почти не открывала даже утром, даже днем — дверной звонок приносил непередаваемые мук. Каждый раз за дверью мог стоять Ночной Зверь, обернувшийся в Дневного — агрессивный, огромный, зловещий. И мысли о том, что завтра утром придется добровольно открывать дверь Лене, а кто знает, Лене ли — Зверь вездесущ! — вызывают в Нине Леонидовне безысходную тоску, близкую к отчаянию. Лена всегда, даже в молодости, была бесцеремонной и отбивала у Нины ее мужчин, добрых, хороших, горячих в постели мужчин. Как они были бы кстати сейчас, в дни, заполненные ужасом и страхом!

Вот, например, Ян. Он был женат, но обожал холостые компании. Толстый, веселый, уса́тый Ян — художник. И когда увидел Нину, стал льнуть к ней так, что она уже готова была сдаться и увести его от Ленки в свою квартиру. Но Ленка быстренько организовала то ли звонок к жене, то ли звонок от жены, и Ян остался в компании, а потом поехал домой и даже не пошел Нину провожать. А потом, в другой раз, как-то гуляли они зимним вечером втроем, и Ян напрашивался к Нине в гости и уже бутылку купил, а Ленка сказала: «Нет!» — и довела Яна до метро, а Нину потащила за собой.

Как бы тогда было Нине хорошо с Яном — невозможно себе представить — а сейчас, сейчас было бы еще лучше, в тысячу раз лучше, ей, постоянно осаждаемой Зверем и Убийцей, укрывающейся в своей маленькой квартирке одной, без мужчины, без поддержки?!

А, может, взять и позвонить ему сейчас, через семнадцать лет, вот это фокус, у нее где-то завалился его телефон. Нина нерешительно подошла к выключателю, чтобы зажечь свет в прихожей, ведь все записные книжки лежали на теле-

фонном столике. И вдруг она вспомнила, что ей сказала Ленка лет пять-шесть назад. Сказала, что Ян умер — умер от разрыва сердца. Такой теплый, добродушный, спокойный — и вдруг от разрыва сердца — немыслимо!

Значит, он мертв? Нет, мертвый ее не спасет. Люди умирают и умирают. И скоро она останется одна живая в своей квартирке, осаждаемая Зверем. И ее никто уже не спасет. Боже мой, как страшно и холодно на этом свете, страшно и холодно...

Елизавета ЛАВИНСКАЯ

ОШИБКА АЛЕКСАНДРА КОХАНЕВИЧА

Молодой еще человек по имени Андрей Беляков сидел в кресле перед телевизором и думал о том, что ровно год назад он бросил свою жену. За этот год он сменил несколько любовниц, несколько работ и на данный момент был одинок, простужен, безработен и тих. Ему бы хотелось, чтобы его жена была рядом с ним, лечила бы его, ухаживала за ним, как всегда она это делала, нежно и ласково, чтобы она нашла ему подходящую работу, ему хотелось, чтобы она его любила, как раньше.

Но вернуться к ней было выше его сил, невозможно было так уронить свое достоинство, ему надо было, чтобы она еще сама к нему пришла, умоляла его стать вновь ее мужем.

Андрей Беляков чихнул. В этот момент по телевизору раздался страшный голос: «Александр Коханевич. Дистанционное влияние на наркоманов, алкоголиков и неверных супругов». Андрей Беляков расхохотался. Он очень любил рекламу. Обожал, когда по телевизору кричали: «Две сладких палочки», «Лучше для женщины нет», «Ариэль удаляет даже трупные пятна», «Педик гри пал» и т. д.

Интересно, откуда у этого Александра Коханевича столько денег на рекламу? Ведь это жуткие миллионы ежедневно! Непонятно. Кто и зачем его спонсирует?

Андрей Беляков связался с Александром Коханевичем. Когда он услышал о сумме, за которую к нему возвратится семейное счастье, он чихнул.

— Да Вы что! У меня в помине нет таких денег!

— А Вы накопите, соберите. Вы же сами выбирайте, что Вам нужно...

Пришлось собирать, раз уж так он себе не мыслил жизни без этой женщины, с которой прожил столько лет!

— Давайте фотографию, — сказал Александр Коханевич.

— У меня нету, — ответил Андрей Беляков.

— Как?

— Ну так, Она забрала все свои фотографии, когда я ее бросил.

— Слушай, зачем ты ее, вообще, бросил, если так хочешь вернуть?

— Да она мне все время изменяла. Мысленно, правда. Когда я был ее мужем, у нее никого уже не было. Уж я ее так ублажал, что незачем ей было иметь любовника. Тем более, что она меня любила. Просто обожала.

— Так, в чем дело тогда?

— До меня у нее было много мужчин. И вот она меня все время сравнивала с ними. Ах, этот был такой добрый, тот — красивый, третий — умный, четвертый — щедрый. А я, как будто, злой урод, тупой скряга.

— И за что же она тебя любила?

— А черт ее знает! Она всех любила. И меня тоже. А я хочу, чтобы она была со мной и всех напрочь забыла. Напрочь!

— Можно, — сказал Александр Коханевич. И, подумав, прибавил: — Только фотография нужна.

Андрей Беляков перерыл весь дом, но не нашел ни одной фотографии. Тогда он обратился к знакомым своим и жены, и у одного из них, у своего друга, все-таки, раздобыл фотографию. Но она весьма странноватенькая. Девушка сидит, скособочившись, на корточках и сосредоточенно грызет ногти. Фотограф подсмотрел этот кадр на пляже.

— Паша, а откуда у тебя эта фотография? — спросил он своего друга. — Я ее никогда не видел.

— Ты не мог ее видеть. Это я сфотографировал этим летом в Судак.

— Ты ездил с моей женой в Судак?

— Ну да. Я ездил с твоей бывшей женой в Судак.

— Паша. Я не ожидал от тебя этого.

— А что, собственно, такого? Она свободная женщина. Я — тоже. Но ты не волнуйся, она меня послала. Поэтому я тебе отдаю эту неприглядную фотографию. Иначе, я б тебе никакую не дал.

— А у тебя еще есть?

— Есть, конечно.

— А почему она тебя послала?

— Не знаю. Говорит, что я ни в какое сравнение не иду с тобой.

— Да?

— Угу.

Приободренный тем, что жена поминает его добрым словом, Андрей Беляков кинулся к Александру Коханевичу.

— Да-да-да-да, — обрадовался Александр Коханевич, взглянув на фотографию. — Очень хорошо. Только теперь ты мне скажи, ты жене не изменял?

— Ну, честно говоря...

— Это усложняет дело. Зачем, если ты так ее любил?

— Ну, я ее любил и ублажал, а меня любовница ублажала.

— Когда ты будешь жить с женой, она забудет обо всех своих приключениях, но и ты не будешь думать о других женщинах.

— Это обязательно?

— Обязательно.

— Ну ладно. Что же поделаешь?

Александр Коханевич положил перед собой фотографию и стал делать над ней пассы.

— Все. Теперь она заболела. Лежит в бреду и зовет к себе какого-нибудь человека. Каждый день она будет называть одно имя. Твоя задача — не пропустить твой день. В день, когда она будет звать тебя, ты должен придти и поцеловать ее.

— Прямо, как в сказке.

— Да. Прямо, как в сказке.

— Но как же я узнаю, что настал мой день?

— А ты звони каждое утро и узнавай у ее родных о ее самочувствии. Кстати, начинай звонить прямо сейчас.

Андрей Беляков позвонил и узнал, что его бывшая жена заболела, лежит с высокой температурой, в бреду и произносит одно лишь имя: «Вова». Врачи колют ей антибиотики, но ничего не помогает. Все очень волнуются.

На следующий день было имя Коля. Потом Саша, Леша, Игорь, Антон, Костя, Ваня, Женя, Петя, Паша. Одиннадцать дней состояние было критическое. На утро двенадцатого дня Андрей Беляков позвонил, как обычно, справиться о состоянии здоровья его бывшей жены. К его удивлению она сама подошла к телефону.

— Катя? Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. А кто это?

— Это я, Андрей.

— Какой Андрей?

— Твой муж.

— Моего мужа зовут Павел.

— Ну бывший муж твой Андрей!

— Я что-то не помню, что была раньше замужем.

— Ты меня не помнишь совсем?

— Нет.

— А как ты выздоровела?

— Я все время в бреду звала Пашу. Его разыскали. Он меня поцеловал. И я выздоровела. Прямо как в сказке. Никакие лекарства не помогали. Любовь творит чудеса, Андрей. Я счастлива с любимым человеком.

Андрей Беляков повесил трубку и чихнул. Ему было очень грустно.

ВОЗВРАЩЕНО ЧЕСТНОЕ ИМЯ

(статья из бульварной прессы)

Некая девушка Д., работавшая в АО «Три М», попросила своего шефа М., председателя правления АО «Три М», подвезти ее на его автомобиле марки «Вольво» к дому ее любовника, некоего Х. Х. увидел, что Д. приехала к нему на машине марки «Вольво» и, заподозрив неладное, выгнал Д. Председатель М. еще не успел отъехать и пригласил Д. сесть в его машину. Он повез Д. к себе домой, где стал некорректно намекать ей на возможную между ними половую связь. Д., не желая обидеть М., сказалась больной гонореей. Тогда М. отвез ее домой.

После этого Х. завел себе новую молоденькую любовницу Б., М. женился, а Д. оставалась одна.

Через некоторое время до Х. дошли слухи о том, что его бывшая любовница Д. больна сифилисом, а до председателя М., что у его подчиненной Д. появился хахаль с «Мерседесом».

«Мерседес» имел заместитель председателя АО «Три М», тоже М. Председатель М. сказал заместителю М. о том, что тот, заместитель М., возможно болен гонореей. Заместитель М. обратился к врачу, и был установлен диагноз «сифилис».

Тем временем Х. тоже обратился к врачу, и был установлен диагноз «сифилис». Пристыженный Х. кинулся просить прощения у Б., не подозревая даже, что не он ее, а она его заразила.

После чего Х. в состоянии аффекта пришел к Д., повесил ее, а затем пытался повеситься сам, но вовремя подоспела

милиция, вызванная соседями, услышавшими шум в квартире Д. Работники милиции оперативно вытащили Д. из петли, им удалось спасти ей жизнь, но она осталась парализованной, со сломанным позвоночником.

Суд установил, что Д. никогда не болела вензаболеваниями, ей было возвращено ее честное имя, заместителя М. заразила сифилисом все та же Б. Х. проговорен к десяти годам строгого режима с конфискацией имущества. Б. и заместитель М. приговорены к пожизненному принудительному лечению. Д. находится в Доме инвалидов, а председатель правления АО «Три М», М., развелся.

ЧТО ХОЧЕТ ОН

«Что хочет он, то и пишет. Может написать одно, а может и закрасить все. Сам не знает, что выражает, а суть от этого не меняется. Хоть как он все замаскировывает, или наоборот пытается обнажить, а сказать может все равно одно из двух: я правдив или я лжив, талантлив я или бездарен. Но я-то уж точно талантлива. И доказательство тому — две мои последние картинки», — думала двадцатилетняя художница из Твери, отдавшая всю себя искусству. Она везла в электричке в Москву свои работы.

Уже ехала электричка по Москве, было часов восемь, и после Петровско-Разумовской в поезде осталось немного народу. Художница читала переписку Цветаевой с Пастернаком. Каждое слово из писем отзывалось в ее душе, особенно слова Цветаевой.

В вагон вошел красивый парень. Он сел напротив художницы. Она не поднимала глаз от книги, но почувствовала его устремленный на нее пронзительный взгляд. Художницу звали Марина. «О, как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет лучше, легче!» К ней обращался Пастернак, а может быть сидящий напротив человек. Художник полюбил художника, полюбил душу родную. Надо же! За все время их переписки они ни разу не виделись. Но как любили! Марина отвела с лица прядь волос и почувствовала, что это ее движение отозвалось в напротив сидящем острым ощущением. Марина поняла, что все перевернулось внутри у него. И именно, когда она прочитала фразу из письма Цве-

таевой, обращенную к стихам Пастернака: «Что-то встало и расплылось, и кончать не хочет, — а я унять не могу», — в этот самый момент художница увидела, что что-то действительно встало, и кончать уж точно пока не собирается. Парень сидел с расстегнутой ширинкой, и его огромный отвратительный торчащий член оказался перед самым носом. Она вскочила, быстро ударила гада по башке книжкой и пулей убежала в другой вагон. Она прошла весь поезд и села рядом с двумя женщинами. Электричка остановилась. Потом поехала. Марина не могла опомниться.

— Что-нибудь случилось? Что с Вами? — спросила ее одна из женщин.

— Нет, ничего, — она начала успокаиваться. Ничего не случилось. Она ведь спаслась.

— О Боже!

— Что Вы?

Марина вскочила и побежала обратно. Вот вагон, в котором она сидела. Парня не было. Вместо сумки и картин, о которых она в ужасе забыла, на сидениях и на полу она видела белые капли.

Не стоит наверное объяснять, как трепетно некоторые художники относятся к своим произведениям, особенно к последним. Для двадцатилетней художницы Марины две ее последние картинки были Все. Все, да и все! Ничего не прибавить. Она не могла, логически пораскинув мозгами, понять, что в данный момент она еще весьма молода и сможет создать еще массу шедевральных полотен. Нет. Все было в этих двух несчастных картинках.

Она села на обратную электричку и уехала в Тверь. Добралась до дому за полночь, но уже без приключений.

На следующий день ей позвонили по телефону.

— Але, блядь, поговорим, блядь, со мной, а то я, блядь, кончить не могу...

Марина не повесила трубку, потому что поняла, кто это звонит. У нее в сумке была записная книжка с ее домашним телефоном.

— Я Вам заплачу по двести долларов за каждую картину, дороже Вы их все равно не продадите, верните мне их, пожалуйста. Четыреста долларов я Вам заплачу!

— Заплатишь, сука, твою мать, обязательно заплатишь, блядь, и отсосешь...

— Что?

— Что слышала, сука!

— Я заплачу по двести пятьдесят...

— И отсосешь.

— По триста...

— И отсосешь.

— Нет!

— Ну как хочешь, о-о, а-а!

И раздалась короткая гудка.

Через пару дней он позвонил опять.

— Бери, сука, бабки и подваливай на Петровско-Разумовскую, интеллигентка сраная!

Да, девочке не повезло. Она поехала на встречу к нему, отдала деньги и согласилась на все его условия. Он завел ее на стройку и получил, что хотел. Все происходило с некоторым садистским уклоном. И долгонько.

Потом он показал ей ее картины и спросил:

— Какая из них тебе больше нравится?

— Эта.

— Тогда забирай ту. А за этой придешь потом. Я позволю тебе как-нибудь.

— Ладно...

Марина приехала домой и повесила картину на стену.

Через неделю она опять ездила к этому парню выполнять его требования и получила вторую картину, как ни странно.

Приехав домой, она повесила привезенную картину напротив первой, а сама повесилась как раз между ними.

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС — КАРЛУ МАРКСУ: СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ГЛАЗАМИ ТУРИСТА

Мне, как человеку постороннему, возможно, лучше, чем другим, будет доступно отчужденное и целомудренное наблюдение здешних нравов. Сложившиеся обычаи и традиции не допускают никакого вмешательства извне. Поэтому наблюдать за ними тем более интересно. Первое, что бросается в глаза при беглом, нецеленаправленном осмотре, так это полное и неперемное отсутствие у этого народа каких-либо признаков интереса к жизни. Женщины праздно прогуливаются, мужчины слоняются без дела, дети спят, либо играют в бесполезные игры. Часто совмещают два этих нехитрых занятия. Производит впечатление знойной тоски и безызбыточной зимы на всей земле. Жизнь как будто бы остановилась, и ни у кого нет сил начать ее сначала.

Женщинам, однако, здесь приходится вдвое тяжелее, чем всем остальным. Их хандра сравнима, разве что, с заунывной песней древнейшего народа Рэп. С утра до вечера уставляются они в одну точку и сверяют свои часы с пульсом. «Где тут логика?» — спросите Вы и не ошибетесь, потому что таковая, действительно... «Какие есть у тамошних женщин развлечения?» — будет Ваш второй вопрос. Самый распространенный способ развеять это состояние, это, как они сами называют, «отыметь кого-нибудь (речь идет, естественно, о мужчине) со всех концов». Характерно, что этот народ, женщины же в особенности, не имеют никакого представления о любви, как духовной субстанции. Если некоторым мужчинам еще свойственна определенная степень романтичности, возвышенности, мечтательности (они, в частности, любят петь песни, пытаются иногда затевать сентиментальные поцелуи женских рук, танцевать с женщиной медленные танцы, смотреть на девушку глазами, полными слез, звонить по телефону, чтобы просто поговорить, услышать голос милой, делают так, чтобы устроить «случайную» встречу с ней и т. д.), то у женщин это напрочь отсутствует, для них существует только секс. Добившись своего, они часто бросают обесчещенных ими мужчин, а сами пускаются на поиски новых бесстыдных наслаждений. Но существует и другой тип женщин, т. н. «деловые». Они много работают и зарабатывают очень много денег. За ними существует настоящая мужская охота. Жениться на такой женщине необычайно престижно, а также достаточно выгодно. Но горе тому мужчине, которого выберет деловая дамочка. Для нее он — лишь игрушка в хищных лапах львицы. Эти особы покупают себе, обычно, такого мужчину, который, во-первых, привлекателен, его можно вывести в свет на поводке, а также он, как правило, сидит дома с детьми и ведет хозяйство, что освобождает женщину от обременительных трат на прислугу и нянек. Кроме того, очень часто женщины этого типа обладают садистскими наклонностями, со всеми вытекающими последствиями.

Мужчины не занимают никаких ключевых позиций нигде: ни в жизни, ни на работе, ни в политике. Зарплата их ничтожно мала по сравнению с женской, и часто, чтобы хоть как-то прокормиться, они вынуждены идти на панель. А здешним шлюхам не позавидуешь. Шлюх настолько бесправен, что не может даже подать в суд на покалечившую (!) его клиентку. А в последнее время появилась еще и по-

вая угроза — это женщины — борцы за нравственность, которые приходят к шлюху большими компаниями под видом того, что хотят заняться с ним групповым сексом, связывают жертву, всячески издеваются, а затем кастрируют несчастного. В суде отказываются рассматривать дела подобного рода, т. к. это дорого да и судьи почти все — женщины.

Однако некоторые смельчаки уже пытаются бороться с создавшимся положением вещей. Но все мужские митинги и манифестации оперативно пресекаются, а с их организаторами жестоко расправляются. Недавно свою мужественную жизнь нелепо окончил на электрическом стуле боец-маскулинист Эф Эф. О славных героях, вроде него, слагают песни.

Но таким образом жизнь не может долго протекать. Ведь от этого страдают прежде всего дети. По стране около миллиона беспризорников и еще столько же отцов-одиночек. Ради ребенка, ради детей, почти никто из женщин не желает сохранять семью. Поглощенные смертной скукой и не менее смертной жаждой удовольствий, некоторые из них насилуют собственных сыновей, а нередко и убивают их же. Все это при полном попустительстве не только органов власти, но и церкви. Их специальная папесса даже выступила с речью о том, что нельзя допускать всевластия детей над умами отцов. Она также выпустила особый указ об аннулировании презервативов. По этому же указу каждая родившая вне брака женщина имеет право отдать ребенка его отцу, который обязан заботиться о младенце до самой смерти. Единственно положительное здесь то, что мужчины значительно больше привязаны к детям, чем их жены и любовницы, а значит, могут лучше о них печься.

Как решить все эти проблемы, накопившиеся в обществе за многие века женского моделирования? Ума не приложу. Мне думается, что рассматривать их нужно в комплексе. Если с детства прививать девочкам комплекс неполноценности, а мальчикам комплекс царствования, возможно, положение и улучшится. Женщины перестанут тосковать, а у мужчин появится спокойная уверенность в себе, так необходимая им в современном сложном мире. Но где же найти таких воспитателей, которые смогут сломать этот тысячелетний уклад? Ведь воспитателем детей в семье традиционно является отец. Он проводит с детьми большую часть жизни, тогда как мать занимается своими делами и разгоном скуки в бесконечном разврате. Отец и должен воспитывать в детях качества, которые повлияли бы на их дальнейшую жизнь.

«Теперь для этого нужно сначала воспитать отца», — скажете Вы. Да. Поэтому-то и организируются уже в нашей стране специальные диверсионные отряды мужчины для засылки их в эту глухоманную, неизведанную и страшную страну. Участники этих отрядов — геронческие люди. Они знают, что им придется нелегко. Нелегко будет жениться на здешних женщинах, жить в пещеловеческих условиях, зачинать и воспитывать потом всю жизнь детей, работать в школах и университетах, проводить собрания и тусовки. Но впереди у них незримая и вечная цель, ради которой каждый из них без промедления рискнет своими — ну сами знаете, чем...

15 СТУПЕНЕЙ ОЧИЩЕНИЯ МУЖЧИНЫ НА ПУТИ К ХРАМУ ЛЮБВИ

15 ступеней очищения — это 15 суток, которые он проводит в замкнутом пространстве в ожидании любимой женщины.

Для прохождения этого пути, женщина, которой хотел бы обладать данный мужчина, выбирает подходящую комнату, в которую она приводит мужчину, и тут же оставляет его одного.

Путь начинается в 8 часов вечера.

1 ступень. Начало пути. Это самая сложная. Мужчине трудно даже попытаться взойти на эту лестницу, но еще труднее преодолеть первую ступень. Он должен освоиться в чужом пространстве. В первые сутки он не должен употреблять ничего в пищу. В 9 часов ему необходимо сделать клизму из ромашки и принять еле теплый душ (28 градусов).

2 ступень. Ожидание. В этот день к мужчине должна придти любимая женщина и разговаривать с ним в течение 17 минут. Потом уходит. Но он не знает, когда именно она придет. В режиме: клизма из череды и теплый душ. Диета: 200 гр. свеклы, 150 гр. моркови, 50 гр. вар. рыбы (треска).

Ступени 3—14 являются не очень сложными и представляют собой подготовку органов чувств, развитие чувств, а также включают упражнения по усовершенствованию деятельности мозга, рук и т. д.

15 ступень. Последнее ожидание. В этот день мужчине уже позволено выйти на улицу, чтобы купить женщине подарки, цветы, а затем украсить комнату к празднику встречи.

Женщина появляется (или не появляется, по ее усмотрению) в 9 часов 2 минуты.

Татьяна ГОРИНА

БЕЗ НАЗВАНИЯ

*«Что же такое ветер, о котором
мы столько слышали?»*

Карл Сэндберг

Интересно — что же это за девочка? В захлавленной, тесной комнате, окна которой занавешены толстыми портьерами, видны ее длинные ноги (одна на другую), а лохматые волосы опутывают лицо, а руки сплетены одна вокруг другой, коленки почти до подбородка. И почти темнота. Полоска света между одной шторой и другой. Углом эта полоска переходит на пол, выявляя обрывочный узор паркета. Девушка похожа на не существующую в реальной жизни, а только представляющую себя живущей. Название на другой стороне — «Прогони насекомое». Белый фон, и от руки выведены небольшие, не уверенные ни в чем буквы...

Я снял теплый свитер, потому что день уже наступил, стало жарко. У меня не было вертушки — оставалось только рассматривать фотографию и думать над названиями песен. Я вынул диск из пакета.

Первая сторона:

«Однажды моя голова...»;
«Пуговицы круглые, большие»;
«Я его видела»;
«Откуда и куда»;
«Одна я: стою»;

Вторая сторона:

«Не надо — говорю я»;
«Все равно — убегу»;
«Падай, чтобы не видеть»;
«Опять это солнце...»;
«Шелли».

Ее зовут Шелли. Позвоню-ка я своему знакомому...

— Я тебя не оторвал ни от чего интересного?

— Нет, я сижу в окне... Загораю.

— Ну, что ж... К тебе идет туча.

— Да? Совершенно пустое небо. Вокруг меня летают осы.

— А я тут купил пластинку «Прогони насекомое». Слушай...

— Ну, как она?

— Да дело в том, что мне не на чем ее прослушать. Я хотел спросить тебя, о чем песня «Я его видела».

— погоди. Мне оса залетела снизу в штанину. Вот гадина!

— «Я его видела», — это о чем?

— Ну, там так: очень много движется автомобилей по городским улицам, закат солнца, нет никакой надежды изменить этот день, он потерян, как и все предыдущие, и неожиданности — это не моя судьба... И она говорит, что в одной из проезжающих машин она видела его... За стеклом. Его жизнь спокойно проползла мимо нее, всего в двух метрах, плавно поворачивая руль... И она себя спрашивает: а кто я? Наверное, никто...

— А что за песня «Опять это солнце...»?

— А там так: ни маленькая, ни большая в этом мире, где все относительно, ни злая, ни добрая в этом мире, где нет ориентиров, ни веселая, ни грустная в этом мире, который старается тебя поймать, как только ты скажешь: я человек, я человек, я человек. А теперь поговорим о солнце. Опять это солнце... Не называй его солнцем, не дай ему тебя поймать...

— А «Падай, чтобы не видеть»?

— Вообще там многое берет на себя музыка и голос, а слова в отдельности от них теряют некоторый оттенок. Если хочешь, я попробую рассказать...

— Ну, попробуй.

— ...пролетающий самолет выбросит тебя в небо; а небо — это то, чего не существует, а небо — это то, что кончается внутри земли, а небо — это только для крыльев, а небо — это твой последний восторг, а небо — там нет никого, а небо — ты уже все забыл, а небо — раскрытый рот, воронка для испаряющихся сил, а небо — то, что ты испытал напоследок...

— Да... Может, я к тебе зайду? Как ты на это?

— Заходи, мне-то что?

— А ты случайно не знаком с Шелли? — задал я глупый вопрос.

Ответ оказался потрясающим:

— Знаком.

Ответ тюкнул меня молоточком по макушке.

Я молчал очень долго. И Карл молчал. Потому что он загорал и ему было не скучно молчать. И можно было отходить от.

— Знаком с Шелли? И что теперь? — пробормотал я.

— Приходи, чего ты там... Я тебе расскажу обо всем.

Несколько раз я менял штаны и рубашки, пока не оделся, как мне показалось, наиболее интересно: в тонкие красные брюки чуть ниже икр, с тремя черными маленькими пуговицами по бокам внизу, и в голубую футболку, на груди которой был нарисован черный, сидящий расставив ноги человечек. Я взлохматил волосы. Они у меня каштановые, но сейчас чуть выгорели на концах, и это мне очень идет в сочетании с зелеными яркими глазами. Я, конечно, отправился к Карлу босиком. Нацепил на палец серебряный тяжелый перстень.

У Карла дверь раскрашена разноцветными треугольниками, а в квартире вся мебель, посуда, другие вещи имеют тоже какое-то отношение к треугольникам.

— Ты не ударяешься обо все это? — говорю я.

— Да нет...

Карл чешет шею, потом переходит чесать затылок, потом чешет макушку и спускает почесывания на лоб, обчесывает нос, потом скребет над подбородком и широкими движениями массирует шею.

Я, зачарованный этим процессом, пропускаю момент, когда в комнату, залитую закатным солнцем, входит Шелли. Я замечаю ее только тогда, когда она садится на диван, поджав под себя загорелые ноги, и смотрит на меня. Вот тогда я ее замечаю и... ноги мои подкашиваются, я падаю как брошенный куль.

— Что это со мной? — говорю я. — Я и сам не понимаю, как это могло случиться...

— Тебе надо привыкнуть к Шелли, — говорит Карл, — она на всех так действует поначалу.

* * *

В верхнем этаже дома жил портрет моего вечно молодого друга Робина. Расстались мы с ним навсегда, когда нам было двадцать лет. После этого я ни разу не встречал человека более полно соответствующего мне, чем Робин, с кото-

рым почему-то не получилось дружбы. Мы плохо с ним общались: не умели прогуливаться, нас всегда куда-то несло друг от друга, а потом, мы стеснялись строить свою жизнь на глазах другого — ведь при этом ты не всегда идеален..

Чтобы быть красивым, я в конце концов ушел в свое теперешнее местопребывание.

У меня есть большое зеркало, где можно отразиться в полный рост. Люди вокруг присутствуют лишь в портретных проявлениях — это мои любимые лица. Портрет Робина. Он висит в маленькой комнате под самой крышей. Там нет отопления и всегда холодно, когда кончается лето (самое лучшее место для молений). Портрет Робина — бледная фотография; лицо на нем выглядит несовершенным и оттого — более наполненным сиянием его удивительной личности. Ведь Робин — гений. Какие вещи он рассказывал мне по ночам! Для меня Робин — гений, потому что он доказал мне это, я почувствовал на себе вибрацию его творческого огня. Но для тех, кто его не знает (а таких много — это все остальные люди), он слаб, потому что Робин — самый слабый в мире. Он не хочет катить камень в гору и носить кувшины с водой, чтобы заполнить бездонную бочку, а больше дел для людей не выделено..

Фантазия на меня налетает вместе с метелью; метель любит мой дом, в котором стоит маленький письменный стол, на нем горит лампочка, в стороне — кровать. И человек — я.

Когда в небе гром, и за порогом прыгает дождь, я к вечеру жду гостей. Не могу сказать, почему — но в сырой черный вечер мне чудятся на дороге путники. Они входят в дом в мокрых плащах, с розовыми щеками, глаза их смотрят влажно, они хотят есть курицу с рисом..

Я не знаю, почему это так — но летом, когда все заросло вокруг, и испарения земли летят к звездам, стены моего дома тают, их можно проткнуть пальцем, как торт; и ночью я боюсь, что кто-нибудь приподнимет край стены и вползет ко мне, лелея зловещие замыслы.

Вчера мне пришло письмо из города. Без обратного адреса. На каком-то заграничном бланке было такое извещение: «УВАЖАЕМЫЙ такой-то такой-то! МЫ ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ВАС, ЧТО В СРЕДУ В 15 Ч. СОСТОИТСЯ ВАШЕ ВСТУПЛЕНИЕ В СОЮЗ «ЮНЫЙ МОРЯК».

Меня тошнило потом до обеда. К обеду я вышел за дровами во двор и спалил там эту бумажку — но все равно ес

дух еще и ночью витал рядом; лип ко мне, как осенняя муха.

Мне снились коридоры, комнаты, какие-то экзамены; я суетился во сне, чтобы все сделать наилучшим образом, я был во сне хитрым и мог убить любого, тыкая в него острым ножиком.

Текла сладкая кровь, я с интересом тыкал и тыкал. Убивал самого себя.

Иногда, когда читаешь книгу, по странице вдруг начинает ползать что-то микроскопическое, рыженькое, я обычно сдуваю это за борт. Сегодня сдул вот такого, а потом стало его ужасно жалко. Хотя что мне с ним было делать? Куда его нести?

Не дай Бог, меня найдут вместе с моим домом!

Они разворуют мои сокровища!

Я запутался сам в себе...

Зажился я на свете. Настолько зажился, что даже после всего того, что я понял, я в раздражении могу сойти с ума от злости; так и вижу себя, скукоженного, с пеной на губах, грызущего угол стола.

Когда я был (когда-то) девочкой, я, помню, очень любил прыгать под рок-н-роллы, скакал по комнате от окна к стене и обратно, роняя стулья.

Иногда мне снятся те квартиры, в которых прошла та жизнь. Эти квартиры наполнены рожденными в них страхами; во сне я продолжаю бороться с ними; я езжу в троллейбусах, меня хватают за ноги, когда я пытаюсь взлететь, балконы обваливаются, как молочные зубы, и лифты увозят меня на какие-то антресоли дома, к огромным паутинам, страшным пустотам, лифты падают в шахту, и держатся на тонком волоске, и медленно ползут вверх; и этот весь бред гоняет меня по своим дорогам.

Был солнечный день, снежная пыль вилась за окном; я сидел за письменным столом, попивая горячий чай, и записывал упирающиеся мысли.

Я вел четкую запись всех своих дней: что я делал, что думал, что происходило вокруг, в мире...

Вообще же, живя день изо дня, я терял связь с самим собой. Все, что я делал, было мне в общем-то не нужно, и что самое страшное — я не видел никого — ни в себе, ни в окружающем мире — кому нужна была моя жизнь и моя деятельность... Обстраивать же свое самоубиение мне тоже не казалось чем-то нужным...

Вот так я и волочился по дням и ночам, все вперед и вперед. Запасся мелодиями, новыми книжками, справочниками, словарями, зубными пастами. Когда наступала весна, я делал вид, что мне очень интересно копать в земле, сажать семена моркови и редиса. Потом — уборка в комнатах. Когда наведешь чистоту, сядешь в кресло и взглянешь вокруг — пусто, холодно, и щека чувствует сквозняк...

Скоро Новый год.

Осталось несколько дней, — и можно будет, за минуту до удара часов, посмотреть в черноту за стеклом, и ощутить изменение; надеть новую одежду, лечь в чистые ароматизированные подушки и простыни в новой байковой пижаме, свернуться как младенец и пустить новогоднюю слюнку... И согреть постель, оттаивать ее. Один справиться с ней я не могу — кладу две грелки, в ноги и за спину.

Сколько я историй придумал, согревая головой подушку, сколько можно было бы фильмов снять! Когда-то я мог стать самым полезным членом общества, самым нужным, деятельным и плодовитым. В шестьдесят лет, нося огромные брюки, нося большое тело, я был бы директором какого-нибудь театра и делал бы вид, что я очень взрослый, а совсем не маленький, капризный и вредный мальчик, что спрятан под этой толщей. Была у меня одна знакомая, которая за всеми этими большими старыми дядями видела мальчиков, которые — хоть время и изменило их тела до такой фундаментальности — так ничего и не смыслят в жизни...

Юлия КИСИНА

АМЕРИКАНСКИЕ РАССКАЗЫ

ЯРОСТЬ, ЯРОСТЬ

Ах, что же в этой жизни может быть прекрасней Пекина! — воскликнула Маша, и сама себе отвечала: — Только небесный Пекин...

Гамлет в возрасте пяти лет несомненно играл в золотой песочнице, которую подарил ему отец. С ним играли и другие дети, в том числе и девочки — дети приближенных чиновников. Вместо песка в этой песочнице был настоящий золотой песок, и дети строили пирамиды из отсыревшего сыпучего золота. Однажды пошел дождь и золото немного промокло. Во время дождя мы устроили спиритический сеанс в столовой. На следующий день в песочнице нашли позолоченного крота — он был мертв. На похоронах крота я услышала такие слова: «Вот так же и ты ослепнешь от сияния этого песка. Ты Гамлет — я — сумасшедшая девочка, ищущая смерть в цветах, в болотных растениях, в диких эмоциях прерафаэлитов».

Лет десять назад золотую песочницу украли и перенесли под укрытие. Каждому кажется, что когда найдется золотая песочница — в государстве вспыхнет огонь страсти небесной и всепожирающей. Наступит счастье. Но я упорно всем твержу, что счастье никогда не наступит, и что чем дальше — тем больше испытаний.

А также я каждый день продвигаюсь несколько миль на север, в надежде найти песочницу Гамлета. Я буду рыть канавы для маленьких крепостей, строить тяжелые валы и подземные ходы. Я поселю туда кротов и альбиносов пингвинов, королевских пингвинов, а также прах моего возлюбленного «А. Federbusch». Но прошло уже семь лет, семь лет с тех пор, как я в поисках. Жестокие безмозглые крестьяне все еще продолжают отсылать меня за пределы нашего русско-немецкого государства, чей язык становится мне все непонятней, и чьи дорожные указатели все невразумительней в связи с постоянными забастовками министерства путей сообщения.

ХОД ВРЕМЕНИ

А в это время в Америке уже было девять поль поль утра и на зеленой, ослепшей от утреннего солнца лужайке шла раздача мшистых бейсбольных шапочек. А мы в 3 часа дня, до дна упившись германской государственностью, раздавали направо и налево крикливые вызовы ее монолитному сознанию.

На час позже, в 4.00, обезумевшие от сегодняшнего, слишком неуравновешенного вращения Земли, мы телефонировали в длинный, далекий, почти не существующий манхетенский лофт, по которому бегали ранние зеленые блики, переползая с золоченых корешков на чашечки с «экстази».

Хозяев не было дома, и невозмутимый автоответчик, поймав на полуслове, сопроводил нас в мир неведомого и немедленно вежливо распрощался, на мгновение вынырнув из слухового небытия. Между тем, берлинские мальчишки, запрокинув головы над небоскребами, уходившими на ту половину неба, где золотая люфтганза переходит в сияющие гольфстримы голливудских чудес, тупо и однозначно открывали рты под жев шоколада.

В пол одиннадцатого, после сэндвича с какао, обычно грезились «найтклубы» и продавщица пива Яклин, посещавшая от любопытства все похороны в еврейском погребальном салоне «Чеснок». У нее были черные и сладкие, как леденцы, ноги, уводившие далеко вверх, под замшевый якет или на седьмое небо.

В пять часов дня в Берлине становилось томно и потягивало пьянящей влагой уходящего дня. Было не до шоколада. Рабочие толпились на остановках, поражая своей готовностью в любой момент вновь завертеть турбины. Трамваи, дребезжа на углах, мягко подхватывали их и как липучие гусеницы скрывались за поворотами. Все чувствовали себя детьми этой фабрики жизни, завертевшейся в ГДРии после вознесения стены. Молодой штойербератор уводил приказчицу дрогерии из «Беролины» в зеленошумный парк Тельмана, чтобы там, между «кюсхен», пригласить «мойсхен» на мышиный парад. Все было открыто для всех! В другой же, западной части города турки-сельджуки уже сползались на корточках в предвкушении волшебных игр из Сезама, которые в сумерках поселялись в Кройцберг, не подозревая о существовании полуострова Вайгач и двухтомника Маркса и Энгельса о живописи.

А в это время в Америке как раз занимался день и служанце, разгоряченные разговорами в бюро, кипятили свой вечный кофе, перекладывали карты Таро, и даже не потрудившись подумать о том, что Земля круглая, тупо смотрели на небоскребы, и так намозолившие глаза манхеттенским ангелкам.

Берлинские мальчишки, один в плоской шляпе и в детских бакенбардах-котлеттах, напоминающих эпоху Тома Сойера, гигантскими шагами мерил 50-ю улицу, проносясь мимо серого, вероятно, здания Публичной библиотеки. Другой же, сын благородных родителей Хильгеманнов, внимательно прищурил очки и оглядывая белый свет на манер мальчика, играющего в конкистадора, защищенного все же москитными сетками, семеня сзади на деревянном коне. Они постоянно переговаривались на особый манер из диккенсовских романов, однако разговор их сводился скорее к вещам возвышенным, нежели к низменным. Они говорили конечно же об Айрвине Пене, о Кристо, запаковавшем Рейхстаг, и об опасности заразиться кожной болезнью, когда по утрам они борются в постели у младшего.

В это время, напоминающее скорее вечер, чем день, на той стороне земли на улице Августа Ломбарди, что перекрывает Ку-Дамм, как шелковый путь, в доме номер пятнадцать тяжело хлопнула входная дверь. Прыгая одним махом через четыре лестничных пролета, худая берлинская девчонка, мнившая себя ведьмочкой, из рабочих, ввалилась в темную ночную квартиру. Сердце ее ныло и прыгало в груди как велосипедная шина. Резко хлопнула дверь поменьше и заключила в свои материнские объятия квартиру, заплывшую сальными побрякушными сумерками. Торопливые шаги кед прошлепали в черном коридоре. Дернулась мрачная в темных павлинах занавеска. Через минуту Греттхен разрыдалась что было сил и почти не разглядев из-за наплывших слез фотографию очкастого мальчика с собакой, по которой уже были размазаны крашенные намокшие волосы.

Надо было рухнуть на пол и, резко перевернувшись на 180 градусов по Фаренгейту, по Цельсию, по какой-то 42 параллели, к которой пришит город Нью-Йорк как Ванька к Няньке, посмотреть на висящие в кухне большие настенные часы работы Черного Мюллера. Сердце ее дрогнуло уже навсегда. Мучительное понимание того, что американцы — обретшие безумие ходить вверх ногами и лелеющие эту никчемную привилегию, в отличие от японцев и утконосов,

которые ходят налево по ходу движения Солнца, уже скопились на Бруклинском мосту и ждут, когда по лунной дорожке внесут свежесобранного субъекта с предикатом, а за ним другого — в плаще — гигантскими шагами, чтобы сбросить в пылающее небытие, где две спаниэли с мертвыми головами — Китти и Сэнди Сэллингтон, бывшие слуги небесного президента, все еще сторожат мягкую дверцу банкового тотализатора.

БЕЛКА

От американской армии, покинувшей Германию в 1945 году, осталось 3547 чучел маленьких серых животных. Это — белка! Зачем понадобилось американскому руководству снабжать своих солдат чучелами белок? Непонятно. До сих пор. Может быть это были амулеты, защищавшие Зэга и Льюиса от вражеских пуль? Кто знает? Может, они до сих пор хранят души солдат среди своих отсыревших опилок?

Чучела белок мы нашли в подвале одного Рейнского замка, хозяин которого содержал здание в отличном состоянии, провел туда горячую воду и сдавал комнаты итальянским и швейцарским туристам. Мы попали туда случайно, вместе с вонючей группой из восточного блока. Конечно за нас платила какая-то чешская строительная фирма.

В четверг ночью мы спустились в подвал в поисках, безусловно, привидений. Подвал был заполнен аккуратно стоящими ящиками черного пива, рейнскими винами и черными бутылками Шато-Марго. Первое, на что наткнулся латыш Каспарс, был тяжелый деревянный пропеллер от американского вертолета. На одной из лопастей была выгравирована ничего не означавшая надпись на русском языке «Отдамся тебе, Балтика». С касперсами, с тяжелыми чашками магнолиевых деревьев была фотография на пляже какого-то курорта. Там загорал такой лысый парень в купальном костюме. Его лицо напоминало скорее героя любовника из пятидесятых. Фотография валялась на полу между практичным, трех отделений, кожаным портфелем и старым американским аппаратом для массажа спины, так и выпячивавшим свои кольчатые шланги.

Белки стояли внизу, в самом глубоком келлере, аккуратно пронумерованные желтыми листками. Каспарс просто остелбенел. Конечно, мы сразу оттуда вылетели пулей и не

могли уснуть всю ночь, лежа рядом и уставив параллельные невидимые твердые взгляды в еле брезживший потолок. О чем мы думали? Мы думали о белках. Об американской армии и о бейсбольных мячах, лежащих в углу.

Наши одинаковые белые в полоски носки и выстиранные кроссовки стояли под кроватью так, как будто ночь обещала нам только стерильность, серое небо, бесчувственность. И когда мы все-таки встретились дрожащими сухими губами и ощутили в зубах вкус лавровых цветов, только тогда Каспарс назвал мне имя этой Мелони. Мелони, которая была охотницей и застрелила белку из пистолета в 1956 году в центральном парке. Мелони была убита полицейским, и потом ее сестра, рыжегрудая девка с вороватыми глазами Шилди Брей, сшивала шкурку этой белки, чтобы отдать чучело жениху Мелони в память о ней.

Чучело белки долго стояло на буфете с пожелтевшими салфетками, и мех на ней двигался, когда тетушка Робертс открывала окно. Жених Мелони по истечении некоторого времени отправился добровольцем во Вьетнам. Он погиб в окопе под Дан-Ангом, поправляя на чучеле Мелони жемчужовый пушистый хвостик... Жениха звали Томас Кропивницки. Хозяина нашего замка зовут так же, теперь он работает на американской военной базе в Оберурзеле под Франкфуртом.

ОБОРОТЕНЬ

На перфорации проступают желтые пятна. Доктор режет часть дымчатой пленки, которая катится целлофановым мячиком к моим ногам. В микроскопе живут зеленые монады. Мне кажется, что все инсценировано, потому что я чувствую себя как никогда плохо. Доктор в тренировочных штанах садится на тренажер и истерически крутит педали. Включился прожектор. За стеклом звукостудии суетится медсестра, добела кусая губы.

— Я должен вам сказать неприятную новость, — произнес врач, и закрутил педали медленно, в размере пятого акта «Полета». — Анализы показывают, что вы будете вечно жить.

— Вы уверены? — убито сказала я, еще не понимая смысла произнесенного.

— Взгляните еще раз в микроскоп, сейчас я вам все объясню еще раз...

Втайне я надеялась, что это была кровь другого больного.

— И не сомневайтесь, дружище, — озабоченно сказал врач.

Он говорил со мной как со взрослой и мне было от этого нестерпимо больно.

Я вышла от врача и вдохнула дождливый воздух. «Вечная жизнь?» Мне захотелось съесть три тонны дерьма. В скверике сидели доминисты и несколько доминиканских старух с испарившимися во время молитв лицами. Я заплакала. Слезы текли по моим щекам как теплые вздутые жилы. Жизненные силы мои мгновенно иссякли. Я представила себе долгие дни, сменяющиеся как телевизионные программы. Меня стошнило. В голове шел дождь. «Я буду жить вечно», — выдавила я из себя, подсаживаясь к полоумным старухам. Одна из них просыпала на меня пачку гречневой каши — иди отсюда, девка! По дороге домой в мусорнике я нашла чудесное желтое платье.

Первые семьдесят лет еще как-то терпимо и, может быть, интересно. Но потом я состарюсь или не состарюсь? Мне захотелось поскорее состариться и у меня вскоре довольно удачно вышло.

Я уже не выглядела как в те далекие годы, когда сердце мое играло в песочнице, а зеленые блики застревали в свежих волосах, наполовину опущенных в воду бассейна. Кожа у меня сделалась пятнистой как у леопарда, уменьшенного при аэрофотосъемке. На ней можно было различить оазисы, маленькие континенты. Синие вены, почти что вышедшие из берегов, проложили себе путь сквозь разросшийся эпидермис. Волосы вздулись на голове седым цепеллином и сквозь них, как сквозь атмосферу из космоса, глядел голубоватый череп, в котором бился океан живого мозга. Такими, как прежде, остались лишь глаза — синие глаза с рубиновым отливом, глаза чайки, источник вечной жизни. Родители мои уже давно умерли, и я с трудом могла вспомнить их имена. Из памяти стерлось множество людей и дат, что были мне когда-то важны, имена милых моих спутников, которые в былые времена не сходили с моих губ, теперь почерневших как у пса. За восемьдесят с лишним лет я устала проклинать день своего рождения, который стал теперь абстрактной датой, такой же, как новый год или начало войны. Мне предстояло жить вечно в обличи полужверя.

Я села в лодку и поплыла на середину озера, в ожидании, что, когда смерзнется корка льда, лодка не сможет двигаться и озерное дно подступит к горлу. Мне не давало покоя одно детское воспоминание о фигуристах и неподвижных лодках. Было уже довольно холодно, но в моем состоянии уже не чувствуешь холода. Только теперь я поняла, что много лет назад доктор показывал мне в микроскопе кровь оборотня. В полночь мне предстояло превратиться в мертвую чайку. Я стала думать об известных мне по литературе оборотнях. Вспомнила Джекила и Хайда. Вероятно, и во мне — вечная жизнь была обратной стороной зла...

Анна ВАСЯЕВА
1957—1993

* * *

Я не сумею умереть
И буду ангелом отпавшим
Лететь — в метель —
Сквозь жизнь и смерть? —
Назло себе и прочим падшим —
Но не испившим до конца
Последней — и победной! — чаши.
И будет яд, как лед: мерцать
На дне грехов — моих и ваших.

* * *

Просыпаясь в преддверье рассвета,
Я готова сто раз повторить:
Боже праведный, дай же мне света,
Чтоб могла я его раздарить.
Чтоб смеялось в заброшенном доме
Позабывтое мною дитя,
Чтобы лился в любые ладони
Алый свет — словно струи дождя,
Что окрашенный радостным светом
Над землей расправляет крыла!..
Что ж Ты, Господи, медлишь с ответом?
Или я для Тебя умерла?
Или в дом Твой ходила нечасто,
И свечу зажигала не так?
Или власть притворялась несчастной,
Пожалев для слепого пятак?
Но, себя осквернившая ложью,
Я не каюсь нынче пришла:
Я пришла, чтоб содрать с себя кожу,
Ту, в которой всю жизнь прожила.

Я пришла — может быть, слишком рано,
 Может быть, слишком поздно, но Ты
 Сам когда-то был болью и раной —
 Ярким светом среди темноты...
 Ты молчишь... А дожди на рассвете
 Так светлы — как о свете мольба...
 И касается вечность, как ветер,
 Губ монах и холодного лба...

ПРАВИЛА ИГРЫ

(советы начинающему шуту)

Человек — то, на что мы осуждены!

М. Цветаева

Нет, так игру не начинают,
 О музыканты, о шуты!
 Так снами ночи начиняют,
 Чтоб утром вкус их ощутить.

Так к Богу тянутся устами,
 Забыв, что страсть имеет рот:
 «Освободи нас, мы устали
 От наших игр наоборот...»

Но Бог молчит, Он мудр и весел,
 Он взвесил все, что в нас вложил.
 А Дьявол ничего не взвесил —
 Он нас скрутил — из лжи и жил,

Из плоти, музыки и горя,
 Сказав: «Ну, что же вам еще?»
 Так дар шута (читай: изгоя)
 Хоть как-то будет отомщен...

Еще бы... Но какая мука!
 Я ночь стояла у окна...
 Я говорила так кому-то
 Иль выплакала все одна? —

Не знаю. Ночь была депешей:
Сорви печать — и сразу в путь!
А путь обманчивый и пеший...
В попутчики б кого-нибудь...

Но я стою. Рукав закатан:
Рука помечена давно...
Как хорошо быть музыкантом!
А мне на скрипке — не дано.

А там — скрипач — в соседнем доме
Который час глядит в окно:
«О, как я Богом обездолен,
Что быть шутом мне не дано!»

Вот так играли музы в фанты
И перешли совсем «на ты».
Мы, в общем, оба музыканты,
Но больше все-таки шуты...

Пусть музыка смешно и нежно
Сыграет то, что я велю.
Мы служим Дьяволу, конечно,
Но Богу воздаем хвалу.

* * *

Самоубийца верит в нож,
Как сердце в доброго гонца.
Но поезда уходят в ночь,
И черным рельсам нет конца.

И черной ночи нет конца,
И нет исхода у судьбы,
А есть подобие кольца
И в небо вросшие столбы,

И в землю вросшие кресты...
Но в окровавленной ночи
Они уже давно пусты,
Они уже давно ничьи.

И миром правят поезда,
И душу рвет их мертвый рёв,
И с неба падает звезда,
И труп ее швыряют в ров.

Стальная спица бытия
Сверлит висок и целит в мозг,
И мозг в преддверье забвения
Горит и рушится, как мост.

И рвется в клочья тишина,
И кровь стучится в города,
И ночь пронзительно черна,
И в ночь уходят поезда...

Софья КУПРЯШИНА

ЦВЕТ НОГ

Каждый субботний вечер все девушки Малаховки сильно выпивали. Они выходили к обочинам в клетчатых юбках, не пряча опухших ног. Они были на той стадии алкоголизма, когда начинаешь приятно сиренево опухать, и загар и грязь отливают в синь. Они одевали кто сандалии на босу красную ногу (бурую), кто туфли, довольно расшатанные, но черные, с природной чистой пылью, и было видно, что они перестают стирать джинсы с нарисованной старательно варенкой, не выводят уж пятен на куртках, причесываются не всегда и ноги моют в луже, а если и случится им оплескать ноги из ванны, м^оя *прижитого* ребенка — случайно залить, то полосы по форме обуви грязи распределятся по ступне, и они маленько только тряпочкой сгонят крупный песок и куски, и на гладкую черную кожу оденут тапочки из вельвета и пластмассы, разъединенные на подъеме и обведенные по разъединенному кантом — коричневым, конечно.

Так они выходили, стараясь сделать вид ума, прямизны, достоинства. Иные были с перебитыми носами, а у одной девушки нос был всегда кривой, то ли она в детстве ...нулась где-то тихо — неизвестно. И поскольку не было принято мер — кость срослась неправильно, горбом и в сторону. Но подпухшие глаза свои девушки — как вмазанные винтом с морфином, так и выжравшие литру — глаза свои не забывали подмазывать и подводить чем-то засохшим из баночки пальцем. И кривой замусляканный карандаш имелся у всякой в туеске, а как же — с помадкой и с кремом каким-то пахучим, чтобы размазывать грязь по рукам. Они провожали глазами счастливые семьи, как им казалось, чистых и трезвых людей с колясками и вдыхали, как им казалось, молоко всей этой семьи, озабоченной переходами. Из сумок у мужиков торчали полезные продукты: каша, морковь.

Девушки подергивались в пыли, не замечая этого, иные шатались и мотали головой, думая, что тихо и гордо гуляют,

ждали кавалера. Подходили босые дедушки, у которых в штанах давно не кудахтало, говорили, что, мол, с красавицами пива попить, рассказывали свой день, как кормили голубей и что-то не удалось, иногда богатенький, в косынке, с перстнем, предлагал отойти в кусты двум разным девушкам с остановок, и чтоб разделись, потрогали друг друга, писю язычком, одна чтоб так сидит на бревне, другая на коленочках. За это — штуку. Девушки нехотя шли, трогали обезвоженные руки — делово и сонно, потом притаскивались, но никак кончить не могли, тут появлялся какой-то заведенный кобель с отклонениями (у него хозяин был сумасшедший) — большой, белый, гладкий, с длинным хвостом. Ему было все равно: менстра, не менстра, он их долизывал более-менее.

Но девушки ждали кавалера. После снова шли на остановки, стоять уже не могли, сидели на картонке. Друг друга никогда не вспоминали, а там, одного, со свитером «VOY», одного и того же, с такими плечами, что удавиться. Он был уголовка, носил одной злыдне розы. Она, пустоглазая, редко ему давала, зато тянула бабки — штуками и на отлете так его держала, а он такой по жизни был, что будто каждой рад. Идет по шоссе — и там кому-чего, кому — сощурится, или спросит: «Мадам, водка у вас почему?» Та девушка, на которой он остановился, начинала притоптывать ногами, не могла вспомнить цены водки, хотя жрала ее цистернами, и так запрокидывала голову, что иногда просто падала, а мужику было досадно и боязливо: он не одного порезал, и пасло его много народу, и с уличным паданьем девушек можно схлопотать срочок — зацепки лучше нет. И так быстро уходил в, едрена мать, даль, а там еще одна потенциальная падаля стоит.

К вечеру начинали сильно квакать лягушки, холодало, у иных девушек шел отход, иные догонялись — чем завялялось, иные туманно гадали: поссать что ль пойти? Кавалеры спали в рыжих окнах, девушки сходили с картонок и ссали рядышком. Пробирались домой малаховскими огородами, заводя сонных собак на базар. Одна спала на люке — с носом со кривым со своим — и там тепленький пар через дырочку ее согревал. А во сне — в яркой комнате — в кружевных отчего-то портках — она кружилась в белом танце, или это была южная ночь, танцплощадка, коллоквиум, 1975 год, она ходила между взрослыми — смугленькая, в белой футболочке и раздавала всем богатые южные цветы.

В домах у многих стелился поздний дым, дерево им пыталось, и было слышно: завтра — отход, завтра — отход, а, пять косых есть, так надо *зажитое* отдать, не умереть надуть; а какой он горделивый, пала, я ...еваю, и медленно, медленно, медленно — проваливались в койках — ниже и ниже: Цвет ног в темноте виден не был.

Но пришел как-то раз экстрасенс в этот город Озеры — или как его там — Шахманов. Девушки побежали к нему гуськом, босенькие. Каждая думала, что идет за другим, чем другая. Они показали ему свои стихи:

Хочется шутить, хочется смеяться,
Хочется забыть и не извиняться.

Каждая велела ему приворожить ее к Столыпину.

Экстрасенс был строг.

Велел сказать:

— Так. Пьешь?

— Да.

— Часто?

— Как деньги...

— На игле?

— Угу.

— У Сашки-Кривого? Кубик — палка?

— А-а-а... откуда... вы...

— Молчать! Шас бесов выгонять буду! Встань ровно.

Девушка встала. Вскорости ее начало мотать, затошнило, как с большого праздника, захотелось в туалет по-большому, ...ться, смеяться, шутить, в ушах слышался звон, в глазах зеленые медузы, и она робко попросилась:

— А сесть можно?

— Стоять! — гаркнул экстрасенс, как Илья Пророк в колеснице.

И в ту же минуту девушка ...нулась на пол, испустив газы.

— Стоять, падла! Надо платить за гулянки! Надо карму отрабатывать!

Девушка искривила рот для плача и смотрела с пола на грозного экстрасенса.

— Так. Даже лобок зачесался. Твое говно на себя взял. Чистить надо. У, пропасть! — Он яростно тер штаны.

Видя, как испугано нежное женское существо, он отпустил ее в туалет, дал водички, а потом нежно прижал к се-

бе. Девушка доверчиво прижалась к его бороде, а он основательно потрогал ее грудь под видом лечения.

— Ну что, милая... Не пить, не трахаться, все мысли гнать, читать статьи в журналах, а иначе... убийство у тебя по жизни — и не хочу говорить, да не могу: плохо, совсем плохо будет все, если не справишься. Нет, обычно я всем старым девам этим и советую заняться, но ты (и по фигуре видно) только этим и занимаешься. Небось в год сколько было-то? А? Не слышу! Не помнишь?! В отрубе когда?! Где ж упомянуть?! Ну вот! Вот! Платить надо. За все, милая. За все, хорошая. И мог бы я накачать тебя своей сексуальной энергией, да ведь небось не пролечилась? А? Не слышу ответа! Последний укол? Ну это не страшно. Готовить-то умеешь? А? Повар шестого разряда? Давай мясо достану из морозилки. А ты пока выпей, хорошая, да одень халат жены моей, игуменьи Анны. Вот виски, сделай хайбольчик.

— А как же не пить? — робко спросила она.

Но он уже чесал в ватерклозет. Так они подружились.

Таня Х. живет хорошо, воспитывает толстых детей и никогда не вспоминает о былом. Лишь порою закатывается в придорожный шалман и так там надерется, что начинает двигать глазами стаканы, а экстрасенс ее пожурнит, бывало, да и пошлет в диспансер. Но все у них хорошо.

И другие девушки тоже вышли замуж, и только взгрустнут порою о Том, с плечами, о картонках, о дыме, об отходе, и проглотят пачечку колес от печали. И ножки у них чистенькие, хорошенькие, с педикюром, но всегда они берегут старые туфли-сапалли, у которых лак слез от водки, всегда хранят порванные носки, чтобы заняться в них мастурбацией. А так все хорошо.

НА ГАСТРОЛЯХ

Я давно не была в том городе, где высокие каменные дома просвечены солнцем, благодаря зияющим пустотам окон — прострелами окон они зияли и, как во всякой провинции, улицы пустели рано. В этом городе у меня была удачная «гастроль», там же меня и взяли — с вылетающим сердцем и с колоссальной — я полагаю, до полуметра — амплитудой трясения рук.

Городишко был отличный. Кушать было нечего, и жалкие оркестранты нашего «джаз-бэнда» довольствовались крепкой

грузинской дрянью («Колхида», что ли?), сухариками и всякими женскими пирожками (пока). Выступали все плохо (кроме меня, разумеется), по вечерам устраивали нищенские банкеты, напоминающие вечера в «двадцатикопеечных заведениях» у Куприна. Я нашла для себя шестипалого гида, косноязыкого, но смуглого, со стертой южной родословной. Сначала он покупал мне ряженку вместо «Колхиды», просил не ругаться матом и варить кашу, но я быстро поставила его на место, и утром он терпеливо прижигал йодом ссадины, подметал осколки, приносил мне чаю в постель и похмелиться, выбрасывал пепельницу в раскрытое окно, а мне нравилось трогать его шестой пальчик на ноге: мне казалось, что он искусственный. Однако становился все прилипчивее. Шлялся на концерты, торчал за кулисами, и прогнать его было невозможно. Раз перед выступлением я спряталась за сценой, чтобы застегнуть пуговку на спине — и вдруг услышала знакомое носовое пыхтение. С абсолютно дикими глазами Шкафчик (как я звала его) подскочил ко мне, обхватил и своими бедрами стал яростно об меня тереться. Не было сил высвободиться. Мы дотерлись с ним до самого начала концерта, и когда открыли занавес, жуткая картина представилась этим провинциальным олухам: лектор-музыковед Гринфельд с дикой рожей, вся полурасстегнутая, совершает фрикции по направлению оркестровой ямы. Ничего, не прогнали, но и ставку не надбавили. Витольд сказал: «Как вы были хороши до начала вашей лекции!» Старый пес. Вечером притащился ко мне в номер с «висками» и банкой паштета. Я сказала для приличия, как задрочили меня разъезды. «Ляечка, я сниму вам усталость моментом, — сказал он, — легкий массажик — ведь я кончал... (розовая лысина напряглась)... курсы целителей! (целколомов). — Ну давай, снимай, олух царя небесного. — А вам надо снять кофточку. — Очнулась я в тот момент, когда он нежно массирует мне грудь. — Витольд, вы меня сейчас так возбудите, что я всю ночь не буду спать. — Так я этого и добиваюсь».

Ах шакал, ах нелюдь! Ты забыл, мудака, что ты на гастролях со своей женой, с этой сраной певицей Сретенской, чей голосок похож на спуск унитаза?!

— А как же Ляля?

— Ах, ну зачем нам эти сложности, эти угрызения!

Ну е... Шкафчик на меня обиделся, я ему, кажется, отбила яички после этого сеанса с поднятием занавеса. Е...ся он неплохо, однако он поразил меня не этим, а генезисом

своего вожеления. «Ты знаешь, когда я захотел тебя первый раз? — он доверительно вскинул брови и облизнулся. — Когда Ляля рассказала мне, как тебя трахали на крыше Большого театра осенью 196... года».

И стала вырисовываться забавная картина: все эти десять лет нашей с Лялей — не дружбы — а абстрактного...дежа по телефону, она подробно информировала его о моей и вправду занимательной интимной жизни: преимущественно на ночь, дабы приправить хоть чем-то пресный супружеский секс. Неудивительно, что через какое-то время у него стояло только на рассказы обо мне. Я казалась ему невероятно сексуальной, плюс чердачная эстетика еврейского толка, да и Ляля — гениальная дура — подлила масла в огонь тем, что на его робкие лысые просьбы включить меня в их интим разразилась сентенцией такого содержания: она на тебя даже не посмотрит, у нее мужики рангом повыше (это в смысле генералы или 26 сантиметров?). Таким образом, итожим: рассказы обо мне, как о королеве секса, плюс ущемленное мужское самолюбие равняется тому, что Сретенская долго и упорно толкала его ко мне в койку.

Мне нравился тройной джин с черничным соком... Как страшно и сладко вспоминать все это теперь, среди вонючих татуированных товаров, под гомон Коми-поездов и неусыпный лай конвоя.

Кто донес? Доносят, дорогие мои дамы, сами мужья, это подкаблучное дерьмо, кушая из рук супруги яшенку с лучком и от сытости став откровенными. И мочить надо было *его*, а не ее.

В следующие пять дней в Городе сильно похолодало. Обнаружились отбитые углы зданий, и пахло все больше горелым. В сентябре по непонятным причинам везде жгут костры. Жгут все, что попадет под руку. Я заболела длинной простудой с привычными хроническими ассонансами, перестала мыться, но каждый вечер с помощью «Колхиды» докорячивалась до зала, отговаривала свое (больше всего им нравился клубнично-неприличный импровиз: что-нибудь свеженькое и двусмысленное о хрестоматийном)* и нетвердым шагом двигалась в номер. Пару раз звонила Ляля, как всегда для перемывания костей (знает, не знает?), порыва-

* На мюнхенской сцене в знаменитую оперу был внесен авангардно-натуралистический элемент, и Онегин с чисто немецкой бесстрастностью производил попытку изнасилования Татьяны. Она барахталась столь же бесстрастно.

лась зайти, но фиг. Последний раз голос был настороженным. Но! Это вам не роконцертотские бревноподобные клуши, роль играется до конца (какого?!), и в тексте ошибок быть не может, потому что он залег в подсознание, равно и интонации. Может быть, что-то дрожало, двоилось, двое-смыслилось. Плевать! Однако, как мелко! Когда эта примитивочка яростно позвонила мне в номер, я была уже очень хороша, пьяный Шкафчик упорно называл буриме «бурой», и две шантаночки, благодушно принятые мною, разделись до корсетов.

— Надо поговорить, — надсадно бляла она, — надо поговорить!

Что за черт?! Кто?!

Поговорим. Никогда — такого тона и такой скоропальтельности. Все ясно.

Я чувствовала, что зверею. Кто-то мне не дал (а, Серж!), устала от болезни, город весь стал веревочно-тинным, а контракт все длился. Умиление по поводу скошенных арок и выцветших вывесок сменилось тоскливым омерзением (и оба чувства были неяркие, вязкие, навязчивые). Иди, Ляля. Иди ко мне. У меня сегодня какой-то страшный пир горой.

Подвалили два офицера.

Кажется, меня выгнали из филармонии за запах. Да, кажется. И все время хотелось в туалет. Старый отель сотрясался от наших оргий.

И она пришла. Ей открыла распаленная одна из Кать, с мокрым пупочком, в полотенце. «Что, и Лия тоже в таком виде? — Да, и она тоже». (Я этой девочке мысленно аплодировала в тот момент.) Я хватанула остатную «румку» (но была одета: голой лаяться неприлично; голой — минус очко и заведомо унижительная позиция).

Эта зверюга, вылезшая из пай-девочки и «верной» жены, поволокла меня (в моем номере!) в кухню — эта полутораметровая плебейка, и — как же там: «Оставь нашу семью... и если ты... то я... найму (sic! кого она наймет?!)... мало того, что ты предлагаешь мужу свои услуги (говно на лопате), так еще и заражаешь его всякой дрянью». Pardon. А вот это уже — край. Сначала я била ее по щекам, но она заметно перебздела, потому что никогда не слышала моих криков и не видела моих аффектов: для нее я была вальяжной заторможенной коллежанкой, не без блядства и не без винца, но безобидной — такой дающей сонной медведицей. Она уже пятилась к двери, но я не могла отпустить ее, не

угостив досыта. Слабое теплое тельце ее сразу вызвало во мне судороги. Я потащила ее к входной двери, треская об углы. Где-то что-то начало кровяниться. Я вошла в раж. Я исходила матерными тирадами дивной архитектоники. Странно — она почти не сопротивлялась и — молчала.

Где взять силы, где мне взять силы для этой тоски?! Только сейчас я поняла, что звуки железа похожи на звуки оркестра — настраивающегося, и неудивительно. Я скучаю по ним.

Она все же вырвалась и побежала, но я схватила ее у лестницы и стрелой (это сорок-то восемь кг!) метнула вниз. Говорят, старенький 70-летний профессор, спасаясь от разъяренного быка, прыгнул через двухметровый забор. Тут та же история. Я поняла, что она разбилась насмерть, по звукам. Треск ломаемых костей черепа ни с чем нельзя сравнить. Может быть, что-то у Шнитке подобное. Лезть в рояль и щипать струны, как брови. Ох, как я кончила с этим звуком — но как-то по-другому, чем всегда: с тихим восторгом Финала — эдакое внутреннее forte, что гораздо пронзительнее наружного. А далее — это было давно — открывались двери номеров, сонные горничные и кастелянши застывали, как у Гоголя: в уголках их глаз были серые свалаявшиеся слезы от сна, но сами глаза успел расширить стресс... Что глаза! Я сказала: «Вызовите скорую... Тут... из какого-то номера... выпало... что-то...»

Я выглядела нормально.

РАССКАЗЫ ПИОНЕРОВ

(Из журнала «Юный следовод»)

1. Охота в складку

Однажды папа взял меня весной на охоту. «Сиди тихо, — сказал папа. — Сейчас у возбужденных глухарей нальются кровью брови, а мы будем в кустах». В кустах папа долго не мог открыть бутылку водки, потому что нож и все острые предметы остались на стойбище. Он шуршал, пыхтел. Катался по палым листьям. Тер бутылку о землю, ковырял ее сучком куста, грыз зубами.

Возбужденный глухарь подошел совсем близко. Красным глазом пристально посмотрел. Поздоровался.

— Издалека? — спросил глухарь.

— Из Москвы.

— Эх вы, горе-москвичи. Давай стеклотару, пособию.

Ключом, мгновенно глухарь нашел язычек, потянул вверх: Коварная крышка поддалась.

— А я здесь живу. Скучно, но воздух здоровый.

На прощанье папа и глухарь поклялись приезжать к друг другу в отпуска. А пустую бутылку глухарь бережно прислонил к сосне. «Сдам на станции, — пояснил он. — В лесу сорить — себе вредить».

2. Вечер встречи

Недавно в нашем отряде проходил сбор, посвященный нашей боевой памяти. К нам пришел ветеран Алексей Александрович, звеня боевыми наградами. Оказалось, он — и дважды ветеран труда, и доярка, и кружкист-отличник клуба при нашей Партии «Боевой цветок Подмосковья». Он начал вынимать из карманов грамоты, оплавленный кусок свинца, гранаты. Каждый получил свое.

— А это что? — спросили мы.

— Это — паталет. — с грустью ответил ветеран.

— Что? — не поняли мы.

— Макий паталет. Зализается так — и пух! пух! И ласатка — иго-го! Пописить у меня не работает — чинить надо.

И Алексей Александрович пулей вылетел из класса.

— Галсок... — повторил он задумчиво, — канесна...

Еще много нам рассказал о боях и походах этот уже немолодой, блестящий защитник Родины. Мы узнали и увидели много нового о людях былого.

Как он протер Звезды Кремля портянкой, и они засветились, как снимал чехлы с них и памятников Подмосковья. Как горел в огне. С каждой минутой мы больше и больше любили и уважали бойца 7-й стрелковой дивизии им. Бревна, которое В. И. Ленин в 1919 году нес на Коммунистическом субботнике. Наконец Нюра Потапова бросилась к нему на шею руками, обняла ногами за предполагаемую талию и заплакала. Все зааплодировали. Зааплодировал с Нюрой и Алексей Александрович. Наша учительница плакала. Ей тоже хотелось потрогать партизана. Скоро все стихло.

— А теперь — частушки, — сказал этот немолодой, но и не старый пограничник. И понеслось так хорошо всем знакомое, но с новой заветной силой звучавшее из человека — очевидца тех лет. Тихим, глухим, приятного тембра барито-

ном он начал: «Сидит Гитлер на березе...» И все радостно подхватили: «А береза гнется...» Эта тихая и ласковая ночь запомнилась нам надолго и долго еще не смолкали ча-
стушки.

Петя спросил:

— А разве эта военная — про цветочки какие-то?..

— А помнишь, Петя, что писал Гайдар в своей повести «Судьба барабанщика»: всякая песня до некоторой степени военная. И в этой частушке тема измены Родине, родным размерам и полям.

Стихал ветер. Стихли и песни. Напоследок Алексей Александрович показал нам школьный подвал-укрытие, где со времен войны чьей-то торопливой рукой было написано: «Е...ТЬСЯ В БОМБОУБЕЖИЩЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ».

НАШ АНОНС:

В следующих номерах Юного Следовода читайте:

Как удить рыбку в пределах Кавказа

Как удивить цветовода (цветком)

Как извлечь из сумки припас

Когда ягоды — страх вызывают

Синий цвет ревности

Сено и сенные жители

Девушки в походе

Как есть чахлые растения

Сублимируй на полянах

Выкройка сачка

Гиперсексуализм и банка кофе с молоком

Морилка

Выделения в походе (разметка граждан)

Как расправить крылья дохлой бабочке

Лесные пожары и как их организовать (мастурбация в сухом рогозе)

Как ничего не бояться и зачем это

Как прийти домой без следов укусов

Беременность у сусликов: навечно?

Как ехать в метро с отвычки

Какие слова говорить при прощаньи

Засушивание гусениц

Как никого не узнавать

Васильки — в гербарий!

До следующего лета!

3. День рождения

У Ньюши Суваевой сегодня день рождения. К ней в гости пришли пионеры. Все чистые, помытые, с выглаженными пионерскими галстуками, в новых хрустящих сапогах, с цветами и подарками. И только одна Эркелей Токтогулова не прибралась. Не вычесала кос, не сменила платье, не почистила валенки и даже платка с собой не взяла. Говорит грубым, низким и хриплым голосом: «Ой, Ньюша, с днем рождения, а подарка у меня нет. Дай пожрать!» Все удивились, но из скромности промолчали, а Эркелей вытерла нос рукавом и запела: «Ой, Катунь моя, Катунь, а я в шапочке на-ца-нальной, сидю-сидю, думаю, где бы мне подзаправи-ття!» Это такой алтайский фольклор: петь свои мысли ненормированно под музыку. «Пора уж оставить тебе свои степные привычки, — говорит Эркелей Костя Шкандыбов, староста звена, отличник. — Почему ты не прибралась к празднику, не подарила имениннице хотя б лоскуток кумача, хотя б, однако, веточку тополя! Я вона хозяйственным мылом помылся, сменил сорочку и даже одел папины подвязки, а от тебя пахнет конем». Но не слушала его Эркелей, а села нескромно на стул, открыла зубами бутылку с яблочной водой, взяла в другую руку кусок мясного пирога и стала, чавкая, есть и запивать из бутылки. «Непутевая ты, Эркелей, — сказала ей Настя Покатова. — Не соблюдаешь правил, в пионеры вот не вступила, сочинение списала, в класс ежа принесла и положила его к учительнице на стул, а учительница сидела на еже, сидела, а потом говорит: — Дети, откуда это ежами пахнет? — оказывается, это еж обписался от тяжести учительницы. И все время ты так: чулки не штопаешь, руки не моешь, не готовишься к слету. Если б увидел бы тебя дедушка Ленин, он бы сказал: — Это не наша смена!» Эркелей ела пирог, чесала где-то под юбкой и плакала от горя. Потом перевернула стол, схватила шубу и валенки и с криком «Туу-Эззи!»* выбежала из квартиры. Пионеры недолго горевали, и вскоре начали весело справлять день рождения, читать стихи и играть в Партию.

А Эркелей вышла на набережную, сунула мокрые ноги в валенки и спустилась к самой воде. «Вот бы все они превратились в мелкие серые камни и Катунь унесла бы их», — думала она. В правом кармане она нашла недоеденный

* Алтайское ругательство.

пирог, в левом — самокрутку, украденную у дедушки Токтогула. Она доела пирог, закурила после сытного ужина, села на ступеньку и увидела, что начинается вечер. «Ах ты ж мой эзен-торбаган, — всполошилась она, — мне ж назначил встречу калмык-таксист — Узунбек Гасыров! Он меня гладил по голове, «хоршая» говорил. Побегу к площади, он мне анаши сулил и отметки в дневнике подделать с помощью особенной жидкости». «Би-би!» — раздалось на шоссе. Эркелей обернулась. У машины стоял джигит и ласково ей махал.

— Узунбек-джан! Гасырушка! Как ты здесь?

— За тобой приехал, кызым! Бери шапку, да поедем в ресторан «Арбат».

— Не могу, Узунбек, чулок изорвался совсем, ёк его в сырчик!

— Ну так пойдем ко мне, краля. У меня колонка, ванна есть, вино «Тройка». Апельсинов хочешь?

— Хочу, Гасырушка. Анаши дашь?

— Полный ящик есть, кызым-чечек!

— Ну так покатили!

Поехали они по набережной. Едут, гудят, кругом огни мерцают; проехали мост, у светофора развернулись. Загрузила Эркелей. Говорит:

— У Сувайки сейчас в фанты играют, поют «Три танкиста», целуются в туалете...

— Что грустишь, кызым, — отвечает Узунбек, — грустить — плохо, веселиться надо. Кругом хорошо. Гляди, небо какое!

— Как у нас в Насыране, — удивилась Эркелей, — такое же чистое и темное.

— И то, — говорит Узунбек, — зайти разве в гастроном сайку купить? Да ветчины грамм сто. Да огурчиков.

Так ехали они и говорили, а на площади в тумане открылся светлый шпиль университета.

СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

Я вывалилась из машины в темноту. «Э! — сказал он, — Э!» И ни слова по-русски. Выскочил из высокой машины с постелью, с салфеткой и одеколоном, чтобы протереть меня. Там были остатки плова, в железных кружках «раки» — турецкая водка.

Снова улеглись в постель. Старый турок Махмуд мудр. Он делит мир на число утр и умножает на десять таблеток-пудр от головы. Рядом — напарница Адилля; он подносит к ней зажигалку и гладит курчавую горку. Два язычка — внизу живота; он с неудовольствием отмечает растяжки, тазовую кость и жилку. «Некарашооо». На опаленные губы кладет салфетку с одеколоном. Шипит: xxxxxxxx. Лааааааа! А.А.А. Салфетка шипит. Утро ясное. Солнце в стекло занавески. Мне кажется, что я задыхаюсь, но я засыпаю.

В среду Адилля пришла меня возбуждать. Вай-май! (5 число.) Что делает с людьми женитьба и проституция! Трясущееся существо, брюки в пятнах, редкие, редко мытые волосы спутаны — будто перекасти-поле попало на камень, и сквозь его паутину видна каменная серо-розовая прохладная голова. Камень ведь был прежде участницей (активной) школьного хора.

Руки и голова в пляске; носки съедены псом Лужком, и дыры размером с кружку (дыры больше носка, и сквозь них просвечивают желтые ноги). Казалось, что это не возбуждает. Но только казалось.

Прочно скрепленное голодное тело, пухлые изшрамленные глаза, руки в рыбе, которые она вытирает о брюки — все это говорило о томительном миге блаженства прикосновения к обнаженной селедке, то есть к короткой шее.

О, как она пленительно вульгарна. Ведь есть ведь шарманная вульгарность (не шарманная). Vulgar — как Charmanat. Ведь есть же? Отвратность жеста — как его (и мой) приворот. То есть все наоборот. Такая миленькая, пере...нная такая всем на свете и везде, всюду — она невыносимо прекрасна.

У нее онемели колени. Она сползла с сального дырчатого дивана и загрохотала по полу, закричала, голосом показывая, как хорошо ей жить. И такая нега и такой покой был во всем: в открытом окне и размножающихся сумерках (вегетативно), и так сладко повторять: Лионелла, Лиомпа, люминька, ловеласы, Ривьеры, Лимпопо (сладко стало, да?). Она нюхала жвачечную упаковку. Выспрашивала, что чем пахнет. Лимоном ли? — и снова гладила себя по бедрам. И просто так хорошо было, что казалось — от одного вида Ея — живешь, учишься, набираешься силы, свежей мысли, тепла, здоровья; и перекрестный огонь — мигнет, блин, тебя, и хочется встать под окном, крикнуть в зеркало окна и солнца (а асфальт мокрый): «Выходи в резиночки прыга-

а-а-ать! Э! В натуре! Ты кто! Шмарик! Вапо! Кам хиа! Все уже просохло. Погода, бля, отличная...»

И она прыгнет на тебя, как сплошное солнце.

Мы поедem с нею по шоссе: вперед, на работу.

И СОЛНЦУ ВСХОДИТЬ ПОМОГЛИ ЕГИПТЯНЕ СВОЕЮ МОЛИТВОЮ.

Работа моя — нежная.

НИИстыда, Podzarsky motel, every night — it's my work.

Голубые по утрам (спят) высокие корпуса (по утрам) исполнены солнца. В придорожной пыли по обочинам дорог валяются пластмассовые и жестяные бутылки от колы, стеклянные — от водки, узорчатые салфетки с просохшим под первыми лучами солнца одеколоном — обязательно сладким, разные пакетики; в кюветах мальчики Пожарска, беленькие и хорошенькие, чуть еще подпорченные ранним траханьем в задницу — с таким целящимся взором, — собирают бутылки в длинные мешки. Я сижу на раскладной полосатой скамеечке на обочине и говорю, то есть кричу:

— Э! Мальчик! — и тоже даю ему бутылку.

В жестяном подносе, тщательно промытом водой из канистры, я режу помидоры, и если бы мне быть чуть-чуть-чуть (и немало) потрезвее, мне пришел бы на ум Олеша со своим — ах, ну как же — Матисс — импрессионизмом пуантилистического толка. То есть импрессионизм при дискретности мышления. Но этих слов я уже не знаю. Я знаю одно (один ряд): шлафи, дринки, кола, виски, ресторан, сандук, ярак, баш, чин-чин, араба, 15 ... 20 ... 30 ... или «ни х... не вышло».

Умываться нужно в густых зарослях бересклета, рябины, бузины, берез, где звонкие птички шепчутся между собой, сочная зелень манит, специально возвращенная, да ходят проститутки 50-х годов, ставшие уборщицами территорий, но по-прежнему сохранившие разбросанность редких волос по синему халату. Они ходят в калошах и причудливо и ласково улыбаются молодым. А ты, с кувшином на голове, идешь в кустики.

Помидоры политы майонезом, разложена халва на откидном столике, чай в националистических стаканчиках формы восьми and something to drink. Звучит turkish music. «Сколько детей у тебя, Али? — 25, кызым, + 15 жен. Ты будешь 16?» Стамбул — Дринкин (рейс). Порядковые номера детей путаются с номерами телефонов, проступают

пуантилистически лица изрезанных и прожженных жен. У них ожоги живогов, шеи в шрамах, на руки вообще нельзя смотреть. И тотчас по приезде кончатся услужливость и бисквиты в золотых пакетиках — в шоколаде, и я отлечу после сильной пощечины прямо к дувалу, кажется мне, и стукнусь головой о многовековую плиту с узорами, чадра намокнет, а солнце будет припекать. Он жжет зажигалкой плохо выбритые причинные места молодых жен, а старые только и делают, что валяются по двору и воруют виски, потому что ведь старым — 40, и ...ться хочется гораздо сильнее, чем мести двор. Толстые жены в черных халатах ритмично трясутся над метлами, мешалками, у тамдыров, у ваши, и — нет-нет — чии-чии — да и займутся рукоблудием.

И я запеваю танго.

Как услышу слово Родина — сразу в памяти встает.

И вот уж еду я мимо толстого тополя, мимо железной галочки МОСКВА, все конструкции меня радуют, и сладкими пальцами я тяну бумажку помельче, чтобы не задушил меня на Мичуринском проспекте мудреный таксист — пожилой говнюк, молодой разведчик денег, а впрочем — почему бы меня не задушить? А? А? А?!!!

В машине — свое солнце.

ЗАБОР И ГОРЫ

*«Монахини рассказ
О прежней жизни при дворе.
Кругом глубокий снег.»*

Басё

За длинным каменным забором была необозримая, бесконечная свалка, как другой мир, и из щелей в заборе часто выходили наши алкоголики, разыскав там достаточное количество бутылок. Я никогда не была *по ту сторону* наяву, но теперь я была там. Огромный пустырь, весь состоящий из ненужного: композиции из тряпок, старых шпал, бревен — в преддверии Киевской железной дороги; там можно было сесть на пустое ведро и смотреть на засохшее дерево. Я не знаю: откуда у меня взялось это сочетание: 11 апреля — день Великого Сухого Дерева. Там были камни, доски, тра-

ва, явственный запах земли и миллионы запахов той жизни. Еще — пакля, которая вьется на ветру, что-то выщесая и на дереве. Я ждала большого черного пса, он приходил, мы разговаривали, потом он начинал скулить, и я понимала, что ему нужно. За этим занятием нас заставлял алкоголик, развевающийся на ветру тем, что было шарфом, гнал пса, и начиналось все сначала: на двух бревнах, близко к земле.

— Папа, папа, папа. — Я ищу цинковые белила: ищу и не нахожу.

Занудную песню об изнасиловании заглушал ветер:
«Во-гау-у-у! Во-гау-у-у!»

«Отдалась ему не по-доброму —
Разорвал он на мне бельецо...»

«Ууууу — Вогаууууу!»

«И, смеясь над тошшими ребрами,
Изувечил нагайкой лицо.»

Песня была шарманная, наша, и пелась от стола к столу шарманщиком Рублевым Петром и девкой без имени, но в шляпе с угасшими маргаритками. Песне этой верили все, хотя было ясно, что никакого бельеца на девке не было и не могло быть, а было две кофты, поданные порты, ботинки-ковылялки, юбка без крахмалу и сборок, об которую она вытирала пальцы, когда ее кормили в уплату масляным пирожком, но это было редко, а больше потчевали угрозами сдать в участок, если она не уберется из номера — утром, быстро, в дождь.

Она сходила по деревянной лестнице, делая пред половым šťastливое лицо и будто бы шурша бумажками, уложенными на груди. Ей разрешали посидеть на кухне, где рано утром выставлялись противни с сырыми пирожками, начинали разжигать плиты, поэтому было дымно, искусственно полусветло и полусонно-добро. Наконец находилась бутылка по имени Вчерашняя, все испивали и двигались уже бессмысленно быстро: опрометью стригли капусту, проверяли пирожки, стремительно тыкали бритвенно-острым ножом мясо. Она мешала здесь одна со своей папиросой и двойной заботой: как прикинуться веселой и куда пойти.

Она ходила стирать ветхие кальсоны к солдатам, но не сдержалась и отдалась почти целому батальону. С тех пор они ждали ее, чтобы выдумать еще какую-нибудь каверзу,

вроде всеобщего мочеиспускания на бедняжку: она не в силах была встать с пола;

Сырые вокзалы и неотопленные сапожные будки были похожи на цветы ее шляпы; а цветы были похожи на старую композицию одного художника, которую он не мог разобрать 15 лет: каменный бублик, деревенская крынка с отколотым краем и бронхиально шуршащие астры — черные у начала лепестков и высветляющиеся постепенно к краю до белизны — от света и пепла.

В сапожной будке ей подали кофе.

В каждой таверне она спрашивала себе горькой селедки с черным хлебом и пива низшего качества: без наклейки вовсе или с остаточным безмянным клочком. Поедая пятую за утро порцию селедки, она удивилась, что все еще голодна. Закашлявшись от крепчайшей Ambassador'ы, она почувствовала по сторонам брюха напряженную маленькую боль и осознала, что опять в положении. Чтоб вы провалились все — Пьер, Поль, Сезанн, Лотрек, Кружкин, Шварц и Негер! На серой от селди газете она считала циклы. Двадцать пятого брюмера был аншлаг и также второго термидора, и в промежутках — плыли, плыли, плыли. Кто-то из них имел сперму с запахом дорогого одеколona. За 32 года — 5 детей, а ты попробуй ухитрись за 23 — троих. Мир полон спермы и шуток.

Сарра Бергман, очень худенькая, с небольшими серыми глазами, когда ей прожигали сигаретой колготки, переходила на идиш и советовала девке вылить (влиять) бутылку водки вагинально. «Уж лучше я ее выпью, — думала она. — Закажу и выпью. А Саррочке-курице — пива, продам обои, пойду к старухе, и она вынет вымытой в лохани кочергой все, чего у меня там на...лось. А потом я завяжу, пойду на курсы шитья, заведу книгу о пище и буду мешать ее ложкой...»

Среди местных разговоров: «У меня папка моряк», «А у меня — военный» странно звучало мое хвастовство: «А мы с папкой ...емся».

Он разыскался поздно, после смерти, позвонил по пьяни, как бывало, вызвал меня через девочку (а их у него было очень много); он был веселенький, длинноволосый, широкогрудый, с намеченной уютной лысинкой. Ожидал увидеть тоненькую девочку с куклой, с мольбертом, но увидел шляпу с угасшими маргаритками и затих, протрезвел.

— Что это с тобой?

— Это от радиации.

С родным и понятным мазохизмом он выслушивал про гарнизоны, гостиницы, подъезды, и перебиваниями своими сюжетно усугублял ситуацию. Мы смеялись, медленно раздвигая руками хлам кровати, он понял, что мне уже можно налить, и немало. Я смотрела навзрыд картины и трогала вещи, пропитанные его чувством. Он посомневался, нельзя ли чем-нибудь от меня заразиться, но счел это вторичным. Нежные и теплые ночи сменяли одна другую. Утром же, одинаково злые и похмельные, мы шли в разные стороны, но вскоре он огибал забор и возвращался, когда я была уже достаточно далеко, и шел тем же путем.

Потом я увидела у него своих братьев: Ваню и Вову. Мы так же сладко потрахались. Они были красивые — такие же широкогрудые, с родными кургузыми пальчиками, и матери их не смогли размыть родной романовской породы. Папа подпрыгивал в летних хлопчатобумажных трусах с выцветшими парусами, держа в одной руке бокал с водкой, а в другой — кусок сахара и говорил: «Ну, детка, кто сегодня первый — я?» Я старалась оставить ребят на потом, чтобы успеть исцеловать этот немислимой мягкости смуглый живот и то волшебство, что покоилось за выцветшей резинкой. Но вскоре их увезли куда-то, а я продолжала ходить за бетонный забор, беременная и сентиментальная, и видела там то туманный пейзаж Кутаиси, то горы, сосредоточенно резала стеклами руки, залезала на бетонные круги, стараясь разглядеть номер проходящего поезда, стала много читать. Потом прогнала Салавата, Тимура, Дато, Савву Шапкина, защитила диссертацию, стала профессором, а папа больше не приходил, ибо понял, что сделал для меня все возможное.

— Кем была монахиня до подорожания? — часто спрашивали меня в Институте Мировой литературы.

— Проституткой, — скромно отвечала я.

— Но почему же?

— Это великая сила искусства — видеть и знать, как душный пар размывает силуэты и углубляет ранние тени, как плятятся по обочинам розы, продаваемые в бутылках «Алазанской долины» — старых и широких оплетенных пластмассовой вязью бутылках, как густеет вечер и пенится молодость, и вместе с серпантинном — каплями виноградного сока в пыли — уходит жизнь.

ВАННАЯ

— А! Мы, кажется, переборщили — градусов пятьдесят, не меньше. Спиртус-спиртус. Ты ешь капусту? Это метафора? Ешь. — Скажи: еще. Еще-е-е? Эротика — плохо пахнет. А? Не то? Это метафора? Я не хочу скомпрометировать тебя, но ты полное говно. Особенно, когда говоришь о любви. — Орга-а-а-а-зм? Что такое? — Скажи — да, я хочу кофе, мерзкого растворимого кофе десятилетней давности — *с комками*. Что ты шепчешь, малыш? Узкие бедра, узкое, непроходимое, годами стонущее влагалище. Первый седой волос — там. Самый большой осколок — там.

А лет мне было двадцать шесть, когда я подорвалась на mine. Во все дожди болела изувеченная нога — «распаханный пах», я видела себя по-прежнему с висящей на сухожилии рукой (тогда она еще не действовала) — я видела отчетливо все: вплоть до пороховых синих точек, плотно укрепившихся под кожей; я знаю, где лежал мой серый глаз: он лежал под желтым карандашом. И когда осколок из скулы полез через глаз, и утром лицо было затоплено кровью, надо было держаться нормально и пройти до госпиталя так, чтобы никто не заметил, что с каждым шагом ты слепнешь. Профессор Сахей Ямагути сказал мне: вы будете мною довольны. Он оставил мне только странность взгляда и второй глаз. Русские врачи говорили что-то о воспалении головного мозга и трех месяцах жизни. Утренние перевязки стали моей косметикой. Моему женху, Леве Бруштейну, я написала земляными чернилами: «Лев, я вышла замуж». Не надо ничего. — Он бросился под танк в тоскливом ужасе, даже никого не убив. — Нет! Он подбил танк! Трусливый волченоч скулил, пока ему не принесли спирту. Все они казались мне лёвами. Сволочи-фашисты, заботливо оставив кучу еды, уходили. — Нет! Они ее бросили! Еду! — Они изолировали сыпнотифозных. — Нет! Бросили в лесу! Все вирусные лисы метались, прижимая термометры костлявыми подмышками. Их огненные задние ноги — круг и палка — были вскиннуты ружьями. Вот и кончилась война. — Как я узнаю вас? — В каждом костыле у меня будет воткнуто по ромашке. Длинными весенними утрами в лаборатории я кропотливо делала посевы из внутренних органов животных, и что-то сладко дрожало у меня там: там. Пустота ждала своего наполнителя. Сначала мне было трудно чувствовать что-либо, кроме боли. Утром я в своей комнате-лаборатории

промакивала лицо тряпкой, брала сигарету и шоколад, потом — почти до четырех — опыты, записи, папки. Все эти туалеты, кудри, букли — как мне было вспомнить все это — со своим мятым черепом и избирательно отрастающими волосами. Сквозь плотные байковые шаровары нельзя было почувствовать запаха — это я знаю точно. Странное воспоминание пронзало меня, когда я надевала прорезиненную маску: где был этот жест — скрежет резины и натягивание... В немецком фильме. И так, я работала, шаровары прели, от сигарет я потела. Новый штамм! О, эти плоскости новых структур. Лаборатория связывалась с кабинетом стеклянным окошечком. Одичав в своем противогазе, я заглянула в него однажды, думая о формулировке. В кабинете стоял человек, страшно похожий на Леву — это порода, я знаю — не говори — ведь есть порода равных соотношений крови, скажем так. Квотеры, кворумы. Я думала: ну вот. Есть чашки Петри, есть шоколад, завивать мне нечего, есть цветочная тушь, какие-то каблучные старорежимные лапти, бирюзовое платье, трофейные чулки, одеколон «Чумичка», ногти я обкусаю все, а на большом пальце — подпилю, пластинка будет «Чар-деши» — ВЕДЬ Я МОГУ ОТОРВАТЬСЯ, МАЛЫШ?! Только бы он не оказался дистрофической галлюцинацией. И я сняла маску, протерла не только руки, но и зачем-то лицо спиртом, и, стараясь не хромать, вышла в кабинет. Я вспомнила о китайской рисовой пудре и помаде «Подруга». Вот и шары запудрю. Злым и хриплым от сердцебиения голосом я сказала:

— Кто вы?

— Профессор Завьялов, директор Ропчинского института.

Седой, красивый, ты такой же Завьялов, как я Плисецкая. Неважно. Это было двойное чудо: я мечтала об этом институте. Как? Что? Это счастье? Ноги подмокли с внутренней стороны. Из подмышек просто лило. Нос дергался. Руки отнимались. «Господи, дай мне силы, — сказала я, — я никому не только не делала, но и не желала зла; когда кидаешь заподло, ведь не думаешь, что это грех. Ну пришла я четырех мудаков, что они два часа пилили дрова, так ведь это — шевелиться надо — война!» Война. И бог послушал меня — с тех пор я верю. Не знаю во что — но верю. Может быть, это солнце.

— Кто вы?

— Профессор Завьялов.

Только у нас может быть такое: нашел, вошел, стал просматривать книги. Профессор — и ша, бубенчики. От меня очень пахло спиртом. Мне показалось, что он покраснел нижней частью лица. И вдруг глаза у него увеличились вдвое — из безучастных щелочек в желтых веках они стали огромными, темными и вспыхнули. Это была вспышка, смысл которой был мною уже забыт.

— Да? — Да.

— Подождите, я должна принять душ.

В залепленном пыльном зеркале я рассмотрела свои малиновые шрамы, выпуклости, вогнутости, умело сочетаемые, ключицы, непонятный мягко-треугольный пирожок живота между торчащими костями таза. Я кинулась в тазы, как парашютист. Я даже воспалилась от мытья; английским припасаемым мылом терла здоровую ногу, подбрела ненужные волосы и подмышки, бритвой сняла ороговевшую кожу ступней, зачем-то проспρινцевалась клизмочкой для поносных собак, прикинула, что он будет потолще клизмочки, решила, как возбудиться, наплескала на плечи одеколон (сколько я мылась? за все эти восемь лет — первый раз нормально — час? два?), залезала мыльным пальцем в пупок, думала, как высохнуть волосам, била, била себя для румянца; подняла за соски отвисшую грудь: соски остались стоять, а грудь упала; смочила водой наиболее сальные волосы, плюхнула на прибор одеколону, и все твердила:

«Жить надо легче
жить надо проще
и почему я такая косая
вот потому обалдев над Ропшей
презерватив отовсюду свисает».

Сверху одеколону на волосы я набросала пудры, ибо они продолжали быть сальными, потом сбрила все волосы совсем — там (чего там осталось-то?) — я думала, это по-светски. Нет, не ожидала я увидеть у себя такого пухлого лобка и приятно загордилась его пухлотой. Я до того была чистая, что даже шуршала. Того, что меня обычно возбуждало, не стало. Я завершила туалет пудрой, тушью, помадой и крепкой одеколонной оплеухой. Волнение не прекращалось. — Что же я стою, как шлюха! Надо выпить одеколону! — И я сделала это. Портянки я спрятала в отдушину ванны, на предмет, если он захочет помыться, влезла в валенки розовыми ногами (забыла, забыла про каблучки, и все то платье,

и чулки были в кабинете), надела постылые сырые шаровары (и кое-что теперь почуяла) и единственную полукружевную сорочку, сохнущую символом заправила в них; лифчик давно стал синим под мышками. Я расстегнула мыслимое число пуговиц, надела задымленный китель. Грудь плачевно встряхивалась при каждом движении. Я стояла у ванной двери, спиной к зеркалу; за мной был пар, капель, сплошная одеколонность, холостое расплющенное каторжное десятилетие (только пленный березовый немец-дровокол, которому я завязала яйца веревочкой и пихалась с ним целый день, от этого умер), там где-то разорвалась мина, там я была голодной сутками, там я каждый день наматывала по 40—50 километров в рваных сапогах, и вот все кончилось. Ровный свет, мой суженый, спирт, вдоволь шоколаду, детки мои, ученая степень. За дверью ванны была новая жизнь. И я скинула крючок.

В руках у суженого была толстая книга по микробиологии, в которой я прятала свои исследовательские протоколы. Он пошел на меня, и облако злости тащилось за ним, как пар шницеля. «Это что ж такое?! В военные годы — такой эксперимент — это под ревтрибунал подойдет! Это лихачество в науке! У вас что, научный порыв? Дура!»

Одеколон, портянки, слова любви и вода для спирта. Я снова облачилась в грязный тюремный панцирь и, глядя в пол, принялась криво излагать цель эксперимента. Одеколон этому способствовал.

— Все нетипично, — говорила я, — субординация вопросов, несколько косвенных невкусных намеков, утлый протест, пасквилянты отмечают полвека подвига.

— Хорошо, — он приятно пожелтел. — Вы будете работать в моем институте в экспериментальной группе. Ваши материалы я заберу и после войны зачислю вас в штат.

Видимо, я никогда не нравилась ему, как женщина. Ну что, капусты или чаю?

Я вспоминаю себя в маленьких темных подвалах его института. Три раза по его распоряжению я искусственно была заражена чумой. Бог любит троицу. Три раза я должна была сдохнуть (там; а вообще — тридцать три) и не сдохла. Они не лечили меня, держали в сырости и темноте, питание было плохое, завелись вши, но мой организм после мины сделался железным. Был проект опыта «Итоги совокупления с зараженной собакой». Мне довольно логично объяснили смысл эксперимента, и я согласилась. Но я ушла отсюда в 46 году,

как по звонку: ведь он меня хотел отправить на тот свет, мой Левушка, и я почувствовала, что он мне заворачивает очередную поганку. Странно, за что я его любила? За эти ли узкие глаза, за эту ли великую нацию (что теперь проблематично), за высокий рост, за цепкий злой ум, или просто именно с его появлением я снова почувствовала себя женщиной и не могла забыть этого счастья сборов и мытья, которое причинил мне он? Ну ладно, уже поздно, то есть это не то слово; теперь мне близок образ Бабы Яги; во-первых, Яго — эго, это каждый из нас, старая каторжанка, уже вольная, шебуршит по мокрому делу потихоньку, по сколько в ней такта!

Я закончу, уже пора. Левушка мой был очень непрост. После войны я получила от него телеграмму: «Ваши материалы погибли при эвакуации». Нормально. У меня всегда было материалов — за...ись. Я подумала: может быть, он просит прощения? Может быть, он придет жить ко мне? Но нет. Я защитилась на другом материале — безусловно, худшем. А через десять лет в Москве профессор Завьялов защитил диссертацию на моем старом «погибшем» материале*. Не помню именной, но в твоей звукописи это значило бы: «Чума в Китае». А как еще он мог поступить, если я выжила даже после введения десятикратной дозы? Я не виновата. В огромном московском конференц-зале мы встретились через пятнадцать лет. Я подошла после защиты, поздравила, вся в орденах и прочих аксельбантах. Он меня не узнал: я была седая, накачала грудь капустой, появились шмотки и книги (мои) — он не узнал.

— Извините, — сказала я, — а кто из животных хранитель чумы в Китае?

Глаза его вскрылись на минуту, как рана — кровавая, черная:

— Если я не ошибаюсь — страусы, — сказал он.

* Твой вопрос: зачем профессору защищать диссертацию. Да. Он не был профессором. Он был пустынным сусликом; мусорщиком в опустевшем Тун-Ляо, и в огромные коробки, вырывающиеся из рук ветром, сгребал кости, а его родители, бежавшие в 18 году от тульской очаговой чумы, умерли от нее же в Китае. Всегда один, он слонялся между веревками с бумажными цветами, так и не зная ни слова по-кигайски, пока цветочник Мао не показал ему знаками: убери мусор, получишь пожать. Потом он ел немисливо острый рис руками и вспоминал маму. Цветочник, думая, что слезы — от приправы, прибежал с миской белейшего, неиспакощенного риса. Так он остался там.

СОЧИНЕНИЕ

*ученика 10 класса «Б» 91 школы АПН
Королькова Саши на тему
«Как я провел лето»*

В саду ростральных колонн — тыща. Они пригибаются к земле. Сад — глухой, островной, совсем не острый, а — теплый, протертый, суповой.

Есть несколько таких садов, много есть: один у пневмоческого отхаркивающего диспансера, другой — у Люблино: меж мебельным и сладким магазином «Саллах». Я — мальчик в черном, у меня украли штаны. Я ходил по саду, думал про Олешу, думал про Градскую. Знал: это будет сегодня; с самого утра: проснулся, как всегда, с жуткой эрекцией: я иногда боюсь моего джокера в стоячем положении: он поворачивается ко мне лицом, как короткий змей, требует чего-то, заставляет меня ходить без трусов, целыми днями лежать в постели и покачиваться вперед-назад, он сделал мои бедра негритянски-подвижными. Я танцую, борюсь с ним — мне кажется, он не устает никогда и не падает полностью никогда; пару раз я увидел вместо него что-то женское, как увядший кактус — когда была температура. Я думаю, что весь я не умру: сразу весь; он проживет дольше всех: только побледнеет. Или как у Платонова: убили красноармейца, а у него — поллюция. Возможно, я его распустил, но мне не хотелось бы чернышевского варианта. Мне вообще хотелось бы покоя; не знаю, что мне выбрать: старческий профиль семнадцатилетнего Мандельштама или младенческий фас (ан фас) — потенциально-пузырепускательный — сорокалетнего. И у меня так; поэтому в моем внутреннем сорокалетии я выбрал себе сорокалетнюю Градскую: чуткую работницу больницы. Она долго таскала меня за нос, лечила, неоправданно долго водила ваткой по попе, изъязвилась вся по поводу моей мнительности, но были моменты — она обмякала; эта сорокалетняя растерянность ей так к лицу: «Не знаешь, что заварить от поноса?» Я осторожно осведомился, давно ли это у нее и тут же был смят бессвязной (по-женски) тирадой об отсутствии воспитания и, как следствие, наличии многих болезней. Эх, ворона ты крашенная, медсестра ты вокзальная, наладчица шин, любительница зайти в общественный туалет. Зол я бываю на всех и всегда: не по годам зол, не по средствам, не по положению.

Что до логики — я и сам ею никогда не обладал в полном объеме: в пределах петтинга — да, не более. Оттого я и зол на всех, что — на себя (по нарцистическому типу). Поэтому я сильно отклонился. Итак, утро — зеленое, солнечное; х... знает какое. Я иду за рецептами к Градской — я; семнадцатилетний мокрый Мандельштам, со всем набором давно не стриженного волченка: черная футболка, глаза, волосы повисли от болотной воды, крест облез и тошнит от предчувствия, что сегодня я лишу ее сорокалетней целки. Люблю ее и ее коммунистические брошюрки*; жар полыхает прямо из футболки, ну и так далее — наколки, креолки, картины, корзины — вся пыльная снесь у мебельного магазина окружает своих хозяев.

А какой все же стандарт! Есть интонации желания, на которые не провибрировать мог только Чернышевский. Есть множители: время, дразнилки, ее постепенное распечатывание, и вот мы повязаны... да кто был повязан?! Я что ли? Ха! Письку в рот! Предрассудки! И еще: чем больше патологии, тем крепче (какой-то ее анамнестический афоризм). Она — с ярко выраженным мужским началом, я — с неярко выраженным женским (типичным для неврастеника). Итак, шахматность положения очевидна.

Случилось же по дороге вот что. Я решил на дороге в больницу скупнуться в гадкой люблинской реке, ибо вышел о...ительно рано, ибо знал — вы...ся! Ну и, значит, снял, значит, штаны и, значит, сумку, и поболтался у буйка, и вылез, и кладку одежд оставив у кромки, вошел в тот Сад в трусах в мокрых. Я сразу понял, что он испотребно волшебный, и знал другим ухом, что сейчас у меня одежду ...дят, но выйти из сада не мог. Как хорошо было в саду одному! Я сразу вспомнил синие груши Олеси (не подумайте плохого!), волшебство густого воздуха, летающих тигров, и все озарилось для меня тем многоцветьем любви, которое там описано. И так я задыхался, смеялся, вдыхал, садился, катался и все такое делал приятное и тихо, про себя, говорил слова. Наконец вышел из зарослей, ибо захолодало. Глядь — одежонка — ёк, сумка — ёк, ни ключей, ни бабок. Какой х... польстился на железный рубль и рваные штаны? Наш, советский. Ну и я как-то почему-то думаю: вот класс! Трусы у меня сошли за шорты, футболка черная, мокрая, опорки оставили (наверно, у них были валенки), и я вышел на шоссе. Мне

* Уже полгода.

это было в пику: теперь Градская будет носиться по отделению мне за штанами, а я прикинусь мокрым и холодным сиротой — любимый пмидж! — и, конечно, от жалости до любви — один шаг.

Но обманулся. Она мне не поверила и начала мне рассказывать, как я тащился в трусах из самого дома, а потом обвалился в луже и придумал эту историю — «благо фигура у тебя хорошая, девушки смотреть будут». Так, перемежая комплименты с оскорблениями, она меня начинала медленно хотеть (или быстро). Потому что она меня уже ...ла в словесном эквиваленте — это понятно каждому: там поласкает, там укусит.

— Значит, вы не дадите мне штанов (мандавошка дряхлая)?

— А ты думал, я приглашу тебя домой, в теплую ванночку, и спинку потру, и рюмку поднесу и спать с собой уложу?

Под халатом у нее была мужская майка по случаю жары.

— Ну тогда извините за беспокойство.

— Постой! Вот рубль.

— На чай! — и бух его в кружку с кофе — и по руке — вверх — вверх — вверх — вверх — — — — нет, ей не больше двадцати...

Надо же — вкуса ее не помню. Помню, своим ключом открыла кабинет сестра и принесла ей торт с кулинарного конкурса медсестер. Я в это время был в шкафу — смотрел пособия.

— Что это вы, Лидия Павловна, безо всего?

— Жарко, милая.

Подростковая комплекция Градской причудливо соседствовала с тремором рук и головы, седые вихры — с медными, обезьянья юношеская гибкость со старческим шарканьем при далеко отставленной (отставной) заднице; все было зыбко, взбалмошно, то сливочно, то говенно, то глупо, то умно — как погода Подмосковья.

Несколько постоянных качеств:

— уважить всех, а потом всех обложить

— спазмы сосудов горла

— стремление пересказывать научно-популярные передачи, придавая им заостренно-детективную или событийно-психологическую форму содержания плюс пару эпизодов из своей жизни, ласково вкрапленных (каплями масла) в биографию Сирано де Бержерака (причем интересно, что потом

так и оказывалось: фантазии становились малонизвестными научными фактами, а то и теориями с крупными названиями) и изо всей этой цепи малоуловимых превращений (фантазия — факт — фантазия' — факт' — etc.) можно было понять только одно: она обладала даром пророка-спринтера, если включала то, что надо и когда надо. Постоянной чертой ее было также непостоянство, столь филигранно исполненное, что казалось постоянством.

Через сутки я от нее вышел в голубых брюках медбрата: глупым, безмозглым суперменом. Счастлив был бессловесно — как бабочка, стебелек какой, как глухонемой крот — ворсистый несколько.

А ночью меня настиг мандельштамовский приступ астмы и понял: повязан уже по рукам и ногам. Хоть на месяц — а — скручен. Пока чувство не переросло в поединок, надо сворачивать декорации. И свернул, конечно, через какое-то время. Счастье — бесцветное и безмозглое, в нем вырубашься, и оно не для настоящего мужика. Для меня, например, остался Сад — предчувствие, радость обокражи; любовь — средство, а не цель, и это, как его, красиво кидать баб по всему свету, где индонезийку, где черненькую, где монголочку — как бусы, чтоб они остались в плане планеты. Я ратую за масштаб, экологию и популяцию. Она тогда сказала мне: если ты *сейчас* такой — что же будет лет через десять — и вытерлась мужским клетчатым платком.

Лариса ШУЛЬМАН

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ

Иду я тут как-то по улице в легкой, легчайшей задумчивости, мысли пузырятся в голове, пузырятся — не потому легкая задумчивость, что мысли легковесные, а потому, что погода — задалась, и настроение — задалось отчего-то без особого смысла — вдруг вылетает сбоку наперерез дворник, знакомый мой — напугал — сам весь в метле, доллары, говорит, есть? Я ему с самым отечественным выражением на лице отвечаю — испугалась малость — что Отечество я не предаю, Отечество, мол, в опасности — это откуда-то всплыло из подсознания, то есть из того набора сочетаний со словом Отечество, что нам в школе закладывали и прочее, прочее, что еще из подсознания в виде мыслей вспузырилось, шпарю с такой высокой ответственностью, торжественностью — можно ли о Родине без торжественности? — даже высокопарности позволяю звучать в переливе интонаций — лихо так, прямо под горку речь катится, разогнало, слова мелькают мимо сознания, как сквозят — и чувствую же, что не туда, заносит, в сторону уже закинуло — человека-то надо не обидеть — что дальше там где-то — подсознание все это работает в лихорадке — тупик может оказаться, забрезжил — толстенная-пузатенькая тупиковая стенка — жмурюсь ведь, ожидая искр из остатков мыслей... — это поскольку дворник-то как кинется ко мне — ан нет, вроде пронесло, он мне руку жмет, говорит, что я — патристически настроенный элемент нашего славного Отечества, лучшего в мире — это он мне подмаргивая, как единомышленнику, с которым, мол, с полуслова... да что там, с полувзгляда... да что там, вообще не глядя, не слыша согласны, да что... Он говорит, что мы должны поговорить об Отечестве конфиденциально — я бледнею — он поясняет, что бледнеть не надо, он не тот, о ком я подумала, бледнея — вот ведь, я же говорю, с полу... — ведь мы как лица, некогда связанные единством профессии — это мои биографические сведения, если кому интересно — можем спокойно, как единомышлен-

ники — почему-то многие думают в России — не в Европе — что профессия — это уже как родство, на всю жизнь — придти к очень интересным умозаключениям. М-да...

Я, конечно, колеблюсь — дворничество былое дворничеством, а явно к забегаловке нашей местной клонит мой единоведец-наставник по профессии — но опять же, он значительно мне подмаргивает со знанием дела — и жест ладонью-лопаткой наискось, гарантирующий — к тому же лекция, на которую я бреду в такой легчайшей задумчивости и пузырении мыслей в голове, называется «Некоторые аспекты лингвистических тенденций русского барокко последней четверти XVII-го — не вру? — века» (если вру, то немного) — и этим все оказано, что... — опять же, из подсознания выплывает и еще мысль, — мол, связь с народом... оттуда, мол, силы берем... народ-то в своем смутном влечении всегда прав (Гете, что ли?), песня — это из детства — «раньше думай о Родине, а потом о себе...» — в общем, весь отечественный набор, восемь лет в дневной школе... да плюс еще — брр! — детсадик — и к тому два года в вечерне-заочной школе — отняв упущенное по причине закоренелой моей непосещаемости — в итоге... — нет, сопротивляться никак невозможно — все это туда, туда клонит, куда мы и без того уже сами по себе идем-бредем по усыпанному листьями бульвару — мой спутник глаз свой, бредя, черный презрительный на те листья наводит осуждающе-ревниво, дворник — профессиональное — всегда ревность испытывает к чужим устамкам — так ли убран, как он сам убирает? — вдруг другим можно хуже убирать, а он что — дурак так стараться? — для дворника это сильнейшее оскорбление.

Мой товарищ косматый, в фуфайке, с метлой идет, а я рядом — расфуфыренная красotka — так себя вижу — беретка набок, шарфик эдак бантом, штаны, правда, в дырках — коленки отчего-то всегда торчат — но это даже интересно, если бодрость в лице отразилась, если мальчики вокруг крутятся... Есть тут один — то есть на лекции будет — просто беда — очень отрицательное его влияние — всегда в последних рядах: ни в хоре петь, ни в соревновании победить, ни стенгазеты напечатать — характер у него не задался, не задался, кислятина-кислятиной получился характерец, без задора, не то, что я — еще со школы всегда в первых рядах из-за своего голоса — очень громкий...

На помойку опять же, вместе с дворником завернули-постояли-поглядели. — Не тот народ, не тот народ нынче по-

шел — с глубочайшей печалью за Отечество простонал-таки дворник; высматривая нечто в помоечных накоплениях-нагромождениях-грудах-скалах. — Раньше, бывало, такое выбрасывали, такое... А теперь — одна дрянь! — обобщил он горько, испуская оправданный всей ситуацией вздох, в котором звенела, переливаясь, печаль, что очень и очень можно понять. Это и я помню, когда зайдешь к знакомым студентам-дворникам, а у них — все с помойки, то есть все совершенно: шкаф, кровать, стол, стул, книги, ботинки, миска, ложка... — не буду уже продолжать, — время не то — повторю, пусть и назойливо, никто ничего от себя не отрывает...

Дворник глаз черный пронзительный на меня наводит — свой телескоп-объектив — он у него и вовсе чернейший от напряжения поиска стал — точно я ему конкурент, точно я у него могу — никого рядом нет — ценное перехватить — хотя ведь у него глаз-то острейший, чернейший, а не у меня — тут он дернулся-рванулся к помоечным скалам, хватанул что-то в куче, за пазуху сунул, теперь — он удовлетворенный, мурлычет что-то — решительно движемся дальше, мирно беседуя. Спрятанная штуковина, впрочем, вскоре была отброшена с равнодушием, после чего последовало, — и очень обстоятельное — кряхтение по поводу народишка нашего — что никак не вылетало-не выветривалось из его косматой — метлой — головы.

— Это к чему мы таким темпом придем? — вопрошал раздумчиво дворник, прямо от помойки переходя к мировым проблемам и почесывая в заскорузлой — панцирем — фуфайке, как должно быть, черепаха в своей скорлупе. — Сначала феодализм строили, потом к капитализму дотягивались, опять же империализм удалось перескочить размахом, к социализму скокнули... А теперь что же, все обратным ходом? Социализм, капитализм, феодализм и впереди, как светлое будущее, ранне-неандертальский период? — И вдруг он остановился-остолбенел-закричал, даже руку простер (для выразительности мысли и — видимо — фундаментальности образа): — Где Ленин? Вождь, можно сказать, где?

Я даже не сразу и понимаю, что, собственно, он имеет в виду. То есть, я-то понимаю мелко-поверхностно, что ему — об этом-то еще можно и догадаться — в ранне-неандертальский период вовсе не хочется, решительно обгоняя другие — те расступаются — страны, другие народы, поэтому он вож-

дя и призывает, испытанно-верного, что мы говорим «Ленин», а подразумеваем... м-да... Ну, в общем, к слову сказать, это я — на поверхности, на поверхности, а дворник мой, как и подобает народу (Толстой! Ленин?..) все вглубь поровит закинуть свою удочку и начинает бормотать свои какие-то умозаключения, руку, впрочем, вниз не опуская, а даже напротив, выставив ее вперед, словно полководец перед армией, и странные боевые маневры проводит: то скакнет-прыгнет огромными шагами, то ругань отборная у него слышна, как из пулемета — полы фуфайки громяют, вроде жестяных листов в театре, при изображении грозы и бури, бури и натиска, меча и орала... — что там у него, в карманах-то? — попутно я думаю, за ним следом едва поспевая — вроде в помойке он лишь одну вещь и хапнул, да и ту бросил — но это попутно, к делу безотносительно, замечаю, поскольку вижу в волнении — дворниковый взгляд продолжая — что на стене дома, к которому мы близились толчками-перебежками, Ленина, вождя, так сказать, во весь рост, во всю стенку, то есть, нарисованного в кепке, с протянутой рукой, с надписью: «Верной дорогой идете, товарищи!» — нет на его излюбленном месте, где в подворотне проход к забегаловке укрывается-прячется — и где он всю жизнь — мою, разумеется, жизнь — висел-пылился проезжающим транспортом, даже и врос как вкаменел, лишь по краям обухромился, обремшился, легкая косоватость и подпухлость появились, довольно натуралистические, пятна постепенно расплылись, так что родовая схожесть вдруг с нашим дворником проявляться стала... то есть те ленинские черты, о которых отечественный человек и сам знает-понимает-разумет: узкоглазость Ленина в Казахстане, пьедестал в коврах туркменского Ленина, узбекская похожесть ленинской кепки на тубстейку, ну а в Бурятии... отчего-то тут без всяких аналогий вместо вождя одна гигантская черная голова прямо из земли торчит-высовывается, словно гриб после обильного дождя, и по ней во время как раз подобных дождей вода через темечко по бороде стремится...

На опустевшую неприлично стенку дворник ошарашенно смотрит, что делать не-знает-не-понимает-не-разумет, бороться с ним никто не выходит, только мальчик сопливый-злобный на стенке нехорошие слова, матюки, то есть, высунув язык по-собачьи набок, вытянув щенячью мягкую шейку, пишет-сопит-кряхтит-выводит, сразу видно, интеллигентный мальчик, образованный, писать умеет, из хорошей семьи, —

да прежние лозунги бормочет, во рту их зажевывая: татана-родтатаипартиятатанепобедимыединытатавашу...

Дворник метлу поднимает — выругаться хочет — с мальчиком он вроде бороться решает... но... — отвлекся малость — некто отечественный мимо летит-мчится-сквозит: фуфайка, кепка, кирзовые сапоги мелькают, точные копии дворниковых, заляпанные — жажда в каждой черте лица — вопит душевно-тонко звучащее — выпить! Дворник, чувствуя своего — понимающего суть — человека, в сторону его отзывает, руками машет, перешепнулись-перемигнулись-побратались, близнецы-братья по одежде, дворник жест знакомый делает, гарантирующий, ладонью-лопаткой наискось... Человек тут — счастливый — улетел-ускользнул словно по нюху, по воздушной тонкой струе нужное чуя...

Взбодрившись ответно, дворник о мальчишке злобном, Ленине, стенке исписанной позабыв-отвлекшись, за человеком тем устремился, меня за собой увлекая, а от такого решительного шага мысль у меня — это уж моя особенность — стопорится совершенно, можно сказать, костенеет, так что слова, вовсе минуя сознание, сразу превращаются в поступки-действия-мероприятия, из-за чего потом — не всегда — мне сетуют, мол, думать надо было... — о, наивность же это какая! Как же это вообще возможно! — если на таком — решительном очень — ходу само-собою согласно болтает голову — и ноги сами идут, куда надо — мы же отечественные все-таки люди — все в коллективе, и тренировка у нас большая... — вот и не хочу вовсе в ту забегаловку — она рядом — уже за любой предмет, вроде лежащего на пути человека — интеллигентный такой, с часами — цепляюсь, но дворник — решительный — смущения моего не понимает — понимать не желает, лежащий человек его не удивляет — его он уважает как свободную личность: если захотел спать — суть дела — ложится и спит — не все ли равно где — на своей ли кровати или же на пороге забегаловки...

Лежащего человека стараясь не беспокоить, порог забегаловки — минуя — переступаем, а там... — темно, вонюче, мерзко — я дворника за ватный рукав цепляю — в темноте Лида возможно ли без поводыря? — публика очень разномасная: кричат, галдят, по плечу дворника бьют — мы с ним к столику в угол отходим и — ритуал — он морщится-страдает-нюхает-пробует, чтобы друзей не обидеть — время тянет. Все понимают — это торжественная часть вроде, без которой никак нельзя, сначала нужно значительности при-

дать, персону из себя сделать, гостей приглашать, речей наговорить, как будто всегда так живем, а после этого главное-то удовольствие и начинается, иначе говоря — бардак пойдет куролесить-выделываться — тут-то душу отводим, тут неожиданностей жди-уворачивайся...

Среди окружающих отчего-то лишь даму представили: Марусенька! — тоненькую, словно пустая одежочка на плечиках, но с огромным лиловым подтеком на правой стороне лица, собственного рельефа подтеком, с узором... — нельзя от него глаз отвести и словно бы здесь ее центр тяжести укрывался-обозначался — только в ту сторону она клонилась-падала и свое — никак не понятное — бормотала-выбалтывала, глаз для знакомства не открывая.

Я дворника под столом пинаю, что здесь мерзко, гадко, убого, что домой хочу, что Марусеньки отчего-то боюсь... — ему тихо нашептываю... но вокруг все заорали, со мной восторженно соглашаясь, как будто я им всем публично глупою мысль сообщила, как будто... тут мелко-мстительно я ум напрягаю, как дворника веселого-бесшабашного уесть-уколоть соображаю — и так, между прочим, в потолок забегаловки глядя, тихонько бормочу, мол, следует-то произносить, вроде как доллар, а не... продолжить и не успеваю как вдруг он оживился: где? где доллар? у тебя? — я слегка обалдеваю от неожиданности и продолжаю по-своему, мол, доллар... — Что? где доллар? — он негодует почти, сержусь и я, свое долбя, мол, доллар, — желая вовсю куда угодно, хоть и домой, на лекцию, в кино, в библиотеку, — из вредности долбя усердно — да, доллар, доллар, доллар... — А мне?.. — подплывает сбоку тот человек случайный, мимо по улице бежавший, он на ходу съедал рыбу с головы до самого хвоста, не поперхнувшись ни разу. — Как это? — я удивляюсь, не понимая логики. — Все справедливо, — он отвечает, — у вас — есть, а у меня же нет, дак дайте и мне...

— Откуда? — тут возопляю я — у отечественного студента... но спотыкаюсь о взгляды и дворника и незнакомца, хитрые, понимающие, прищуренные, мол, на то она и Россия, что в ней чем невероятнее, бредовее, тем даже и скорее все может быть... И точно, вспоминаю, есть пять марок, да, дойчемарок, одна бумажка, и даже с собой именно есть, и хотя стрельяние в мыслях происходит: дать — не дать, но любопытство одолевает, шлепаю по столу деньгой как картой поверх кофейных брызг...

— Тыфу ты, с бабой, — разочарованный доносится стон склонившихся вокруг неизвестных людей, — а с мужиком нету?.. — со стариком бы...

Марусенька, глаз не открывая, ручку свою тоненькую, прутик-тростинку протянула мягко-рассеянно и хашнула вдруг ту бумажку-деньгу, сразу видно что мертвой хваткой, я даже изумилась: «Вот это техника!» — воскликнув. Вокруг же и вовсе рокочат умиленно-одобрительно: «Маруся — кремень», «Плакали теперь эти денежки»...

— За что люблю русскую бабу, — и дворник — веселый — свое бормочет-вставляет, — зажала, значит, железно.

— Так это же произвол! — я ропщу-гневаюсь — Это же...

Тут дворник что-то соображает в хаосе всеобщем, меня за руку цепляет, из забегаловки вонючей тащит, метелкой — предусмотрительный — путь расчищая. Я сопротивляюсь его стремительному бегу, хочу за стол сесть, хочу логику ухватить-понять, он же не дает — решительный — уже по улице солнечной идем, он сэкэвэ — так произносит — презрением обливает, себя патриотом именуя, для доказательств же из кармана вдруг кучу рублевых бумажек вытащил. — Все деньги со мной — подмигивает, теряя при этом медные деньги, но скорости не сбавляя, — лысому-то вот только слишком не доверяю — болтает — ему... знаешь анекдот про него? что он волосы-то с досады выдрал? И мало что кепкой в жизни прикрыт, но еще и под кепкой волосы разметал. — Я что сказать не знаю-не понимаю-столбенею, он продолжает мечтательно: — Вот ихний старик — и старый, а волоса-а-тый, волосатей моей метлы будет... По улице — небу радуясь — бредем, участок спасты, чтобы люди — час пик настает — участок зря — толпой — не топтали, дворник поперек тротуара с метлой — это заграждение — встает... А я домой направляюсь... тут парень знакомый, ну с лекции то есть, где я... — Эй, идиот, — ору я изо всех сил — как там лекция?

Папа очень не любит, во-первых, когда я так громко воплю на улице, во-вторых, когда я употребляю это слово — идиот — а я его люблю отчего-то — парень и откликается — опять же через голову всей этой толпы, поэтому тоже кричит: — Пошли в кино, расскажу! — логично кричит он. Но тут наперевес ему как подскочит мой знакомый дворник, да как заорет: Доллары, мол, есть? Тот обалдевает совсем, тоже орет — а ведь рядом уже, нос к носу стоят — Что? —

Поменять хочу, — подмигивая-подмаргивая-усмехаясь вопит-таки неосмотрительно дворник-наставник мой-учитель по профессии-руководитель с хитрейшей улыбочкой в хитрейшей бороде и свои рублевые деньги прямо из кармана пригоршней вытаскивая.

К ужасу своему я вижу, что папа мой стоит в окне и, значит, слышал всех моих «идиотов» — только глухой бы не услышал, удаленный на два квартала от моего местонахождения, так я воплю, когда постараюсь — и головой озадаченно-осудительно — он еще и дырок на моих коленках-штанах не любит — качает. А чего тут качать-то головой, скажу я потом, когда домой вернусь, мы с ним сами, когда, бывало, беседуя об Отечестве — разойдемся, так разойдемся — а его очень даже легко, как всякого русского, на такую тему раскатать — то ведь тоже вопли-то летят-несутся... М-да... Ага... вот уже вырвался парень от моего знакомого дворника, пол-метлы у него отхватил, дорогу перелетел-перетолкался импортными — ого! — локтями, говорит, в кино сегодня фильм — отпад — что-то там... — дальше мне плохо слышно уже, в конце концов, пусть говорит, что хочет, это ведь роли-то особой не играет, главное — что погода — задалась, настроение тоже ведь ничего — задалось помимо всякого особого смысла...

Желающим получить журнал СОЛО №№ 1—13 и последующие выпуски обращаться письменно по адресу: 109652, Москва, ул. Подольская, д. 25, кв. 212. Ермаковой М. А.

Редакция не имеет возможности давать письменные рецензии на предлагаемые тексты, вступать в переписку с авторами и возвращать почтой рукописи, не заказанные редакционной коллегией журнала.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ВЫПУСК

Полина СЛУЦКИНА

А Дуглас кружил ее по кафе и забегаловкам, по небольшим ресторанчикам... Они танцевали, пили, снова танцевали, и Дуглас, касаясь губами ее уха, шептал: «А все-таки больше всех я люблю Пола Анку...»

Елизавета ЛАВИНСКАЯ

Женщинам здесь приходится вдвое тяжелее, чем всем остальным. Их хандра сравнима разве что с заунывной песней древнейшего народа Рэп.

Анна ВАСЯЕВА

*Пусть музыка смешно и нежно
Сыграет то, что я велю.
Мы служим Дьяволу, конечно,
Но Богу воздаем хвалу.*

Юлия КИСИНА

От американской армии, покинувшей Германию в 1945 году, осталось 3547 чучел маленьких серых животных. Это — белка. Зачем понадобилось американскому руководству снабжать своих солдат чучелами белок?

Софья КУПРЯШИНА

...она почувствовала по сторонам брюха напряженную маленькую боль и осознала, что опять в положении. Чтоб вы провалились все — Пьер, Поль, Сезанн, Лотрек, Кружкин, Шварц и Негер!